

Александр Мишутин

На золотом краю России

рассказы и повесть

Челябинск
Цицero
2013

УДК 82-32
ББК 84(2Рос=Рус)
М69

*Автор выражает сердечную признательность
и благодарность за помощь в издании книги
Кудрявцеву Дмитрию Борисовичу,
генеральному директору ООО «Миасский завод
крупнопанельного домостроения»,*

Ковалёву Дмитрию Владимировичу,

Ващинской Ольге Витальевне

Мишутин, А. А.

М69 На золотом краю России : рассказы и повесть /
А. А. Мишутин. — Челябинск : Циперо, 2013. — 152 с.
ил.

УДК 82-32
ББК 84(2Рос Рус)

ISBN 978-5-91283-000-0

© Мишутин А. А., 2013

Ни горячего, ни холодного...

Володя Баркин вырвал зуб. А дома его ждала жена Татьяна: в гости сегодня собрались, на день рождения. Володя рассказал Татьяне об экзекуции у дантиста и подошёл к зеркалу.

— И всё?

— Всё.

— Ну, про два часа все знают, — сказала Татьяна. — С детского сада.

— Нет, она ещё, вроде, сказала: ни горячего, ни холодного, — вспомнил Володя, вглядываясь в зеркальное отражение провала рта. При этом у него получилось: «ы-га-аха-ха,ы-хо-хо-хо».

— Чево? — не поняла жена. — Пасть закрой.

— Ни горячего, ни холодного, — членораздельно повторил Володя.

— Когда? В эти два часа?

— А хрен его знает.

— Будет тебе в гостях разгрузочный день. Ни жрать, ни пить — понятно. А градусы при чём? А ну-ка, открой!

— Да ладно, — увернулся Володя. — Что там смотреть.

Но было поздно: жена приблизилась на критическую дистанцию.

— Ах, вон в чём дело, — раскусила она манёвр мужа. — Уже успел! На какие шиши?

— Ты же на укол мне давала.

— На укол давала.

— Ну, вот...

— Что?

— А я — без укола. Сэкономил...

Жена наливалась праведным гневом, слова у неё плавилась и не получались.

Володя знал: сейчас будет взрыв. И постарался спустить пар.

— Сэкономил и шоколадку тебе купил. Вот: «Россия — щедрая душа». Тринадцать рублей...

— Вот сам её и соси: у тебя теперь зубов нет! — Татьяна выхватила плитку и, не глядя, швырнула её от себя. Плитка врезалась в вазу с розами и опрокинула её. — Ты что, в гостях не успел бы набраться?! — и хлопнула дверью спальни.

А ваза катилась по столу, катилась медленно; вода жемчужно выплёскивалась на ковёр, а Володя почему-то не мог двинуться с места. Успел бы подхватить вазу, а — стоял.

Дверь спальни резко распахнулась

— Мы никуда не идём! — выкрикнула Татьяна.

Дверь хлопнула, ваза упала и разбилась. Лучи солнца вспыхнули на осколках и разбежались радугой по потолку и стенам.

— Блин! Больно ведь! — крикнул Володя в дверь. — Сто граммов вместо наркоза! Даже в войну давали.

Прислушался. За дверью было тихо.

Он подошёл к столу, взял серебряно-прозрачный, хрустящий, с завитушками серпантина букет роз, предназначенный имениннице, и ушёл на кухню. Нашёл в шкафу двухлитровую банку, налил воды, поставил розы. Закурил.

Долгое летнее солнце ещё стояло над вечерним городом, но тени уже были длинными и густыми. Ленивые высокие облака стояли недвижно. Было душно. С высоты десятого этажа казалось, что вечерняя прохлада желанно и ласково заполняет тротуары, переулки, улицы.

В гостях нужно быть через час, время есть, Татьяна ещё успокоится. Вазу жалко...

Володя загасил под краном сигарету и вернулся в комнату. Пока жена в оппозиции — убрать и не усугублять ссору. И не успел. Татьяна вошла, увидела осколки, шумно, ртом, хватанула воздух:

— А-а! Разбил?! А цветы? Где цветы? Выбросил?!

— Да успокойся ты! Ну, разбил! Нечаянно. Ну, выпил!

— Цветы где?! — Татьяна бросилась на балкон.

— Да на кухне цветы! Успокойся! — Володя взял жену за плечи, та дёрнулась, резко отстраняясь руками, и зацепила опухшую челюсть мужа. Володя охнул, схватился за щеку, замер, гася пульсирующую боль.

Таня выскочила с балкона.

— Милые бранятся... — подал голос с соседнего балкона Сан Саныч, пенсионер и собачник. — Витьку в лагерь отправили?

— В лагерь, — буркнул Володя и вошёл в комнату.

Вода впиталась в ковёр и пятно смотрелось бордово и тревожно. Радуги погасли, остро и зло мерцали осколки вазы.

Хорошо, что Витька в лагере.

— Татьяна! — Володя заглянул в открытую дверь спальни: нет. А дверь на кухню закрыта.

— Таня!

Жена молчала.

Володя попробовал приоткрыть дверь, но её с силой захлопнули.

Он взял ключи и вышел из квартиры.

Двор был наполнен прохладой. За столиком, который давно уже превратился из доминошного в скатерть-самобранку, сидели мужики. Под пивко и стопочку обменивались огородными заботами и по привычке ругали демократов.

Володя остановился у подъезда, закурил. Ну, что за дела? На ровном месте! Ни горячего, ни холодного, блин...

Вышел Сан Саныч, держа на поводке свою Лайму. Псина увидела Володю, завиляла хвостом, прижала уши: уважала соседа. Сосед почесал её за ухом, овчарка благодарно глянула на него умными глазами, открыла пасть, захекала, «заулыбалась».

— Поссорились? — спросил Сан Саныч.

— Сан Саныч, тебе-то что?! — вспыхнул Володя.

Лайма вскинула уши, замерла настороженно.

— Спокойней, Володя. Собака реагирует.

— Извини.

— Ну, пошли, Лайма.

Сан Саныч с Лаймой повернули за угол дома.

— Иди к нам, Володя! — позвали от столика.

Володя отшвырнул сигарету, подошёл.

За столом сидели трое: Юрка с восьмого из полуторки, сезонный Женя (за сорок, но — Женя) с третьего этажа и, чёрный от загара как жук, дядя Ваня с пятого — пенсионер-первогодок. Юрка налил гранёную стопку из беслановской «Чарки», протянул Володе:

— Принимай.

— Не, я зубы выдрал.

— Тем более, хватани. Болеутоляющее.

— Нет. Не есть, не пить два часа, — отказался Володя и подумал: «Хватит. Уже утолил. На свою голову».

— Ну, смотри. Хозяин — барин. — Юрка длинным глотком втянул в себя тёплую водку, скривился, выдул из себя воздух, хрупнул малиновой редисочкой. Налил очереднику: Жене.

Женя меланхолично жевал укроп.

— А что, — спросил он Володю, — ты не садист?

— Нет.

— Значит, не знаешь, что такое топинамбур.

— Почему не знаю? Знаю. Занимался немного огородом. Бросил. Невыгодно: дешевле купить овощи.

— Почему невыгодно? — встрял дядя Ваня. — Очень даже выгодно. Поди купи: сколько стоит килограмм помидорчиков?

— А сколько тебе килограммов на салат надо, дядь Вань? — парировал Володя.

— Причём тут салат? Своими руками!

— Вот это может быть радостью. А в остальном... Посчитай: сколько часов с весны до осени ты занят огородом, переведи это в смены, да заплати себе по-среднему и сам увидишь, что ягодки-огурчики становятся золотыми для тебя.

— Значит, не советуешь садить топинамбур? — Женя выпил и продолжал жевать стебелёк укропа.

— Ничего не значит! Я не говорил: сажать или нет! — Володя завёлся, прикусил язык — слёзы выступили. — Отстаньте вы от меня со своими огородами! Сажайте топинамбур, выращивайте свой анЕтум гравиОленс! Ради бога!

— Да ты чё волну погнал? Успокойся, — миролюбиво сказал Юрка.

— Зубы, — понимающе произнёс дядя Ваня.

— Как ты сказал? ГравиОленс? Это что за фрукт? — оживился Женя.

— Да это же... — Володя споткнулся. Хотел было сказать и проглотил звук: бес взыграл. — Это такая штука: посадил весной, а к осени — в земле картошка, на ветках — яблоки.

Мужики переглянулись.

— Французы называют: помдО, — продолжал розыгрыш Володя.

— Как, как? Помидор, что ли?

— Да нет! «Пом» — по-французски яблоко. «Пом дэ тэр» — земляное яблоко, так они называют картошку. «До» — значит «два». «Пом-до» — два яблока: одно в земле, другое на

ветке, — фантазировал Баркин. — А у нас «помдó» называют «памдá».

— Да-а-а, — протянул дядя Ваня. — Французы, что с них взять: они и яблоко «мандой» назовут, не постесняются.

— Не ман-, а пам-да, — поправил дядю Ваню Женя.

— Какая разница! — Дядя Ваня опрокинул гранёную стопку, занюхал укропом, крякнул.

— А я что-то слышал об этом, — Женя почесал потную шею. — Кто-то мне говорил об этом гравиóленсе.

Конечно же слышал! Кто-то при Женьке назвал укроп красивым латинским именем, а тот и запомнил. Баркин глянул на нахмурившегося дядю Ваню, на смятённого Юрку и сказал, еле сдерживая смех:

— По телевизору, наверное, слышал. В передаче про дачи.

— А что же садить: яблоко или картошку? — не понял дядя Ваня.

— Вместе, тундра! — Уверенно ответил ему адепт топинамбура и памды Женька.

— А деревья куда? Ну... стволы, — спросил Юрка.

— На дрова, на дрова! — рассмеялся Баркин.

— Чё ты гонишь? — понял Юрка и тоже заржал.

Дошло и до дяди Вани с Женькой.

Смеялись долго, с придыханием и всхлипами.

— Памда!

— Ну, Вовка, уморил!

— Гравиоленс!

— Наливай!

— Чирик не найдётся?

Возле них стоял фиксатый парень в футболке, из-под рукавов которой до кончиков пальцев синела роспись татуировок. Огородники видели его в компании дворовых шалопаев и ещё двух незнакомцев, таких же как и фиксатый. Они сидели на корточках, по-тюремному, метрах в двадцати, в небольшой дворовой рощице. Пили.

Мужики затихли, а Юрка, который по малолетке пару лет отсидел, набычился:

— По средам не подаём.

Фиксатый скользнул взглядом по пальцам Юрки с метами зоны.

— Ты, братан, чавку захлопни. Не один.

— Бог подаст, — поддержал Юрку Женя.

— Шёл бы ты... — вздохнул дядя Ваня.
— Песню, дурак, испортил, — сказал Володя.
Фиксатый метнул в него пристальный взгляд и потянулся к бутылке с водкой. Юрка перехватил его руку:
— Убери, отсохнет!
— Не по понятиям, братан. Угостить должен.
— Здесь у тебя должников нет, — Юрка отбросил руку фиксатого.
— Вы мне по жизни должны, — фиксатый обнажил зубы, блеснул золотой коронкой.
Совсем неожиданно где-то громыхнул гром.
Флегматичный Женя рывком встал с лавки, схватил бутылку:
— Должны?! Получишь! И по понятиям и по репе своей фиксатой!
Баркин сграбастал Женьку:
— Не торопись, Женя!
А к ним уже подтягивались остальные из рощицы — вразвалочку, лениво.
И двор затих. Гуляющие с детьми мамы и бабушки остановились, развернулись в сторону огородников. Гмыхнуло. Близко и сердито.
Женька вырвался из рук Баркина.
— На! Угощайся! — Он выплеснул оставшуюся в бутылке водку в морду фиксатого. — Жри! А может — пивка?! — Женя схватил «соску» с пивом.
А из-за дома появился Сан Саныч с Лаймой.
Подельники фиксатого дружно бросились на Женьку, сбили его с ног. Володя изловчился и припечатал одного из подельников фиксатого мордой к столу. Тот как-то сразу странно затих; из-под щеки его расплывалась кровь: в стопку нырнул подельник. А Юрка сходу метнул свой бульжный кулак в челюсть фиксатого. Челюсть хряснула и вышла из шпунтов. Фиксатый рухнул, но тут же вскочил, поддерживая челюсть руками. Дядя Ваня утаскивал Женьку с поля боя, заорал хрипло:
— Вы что, охренели?! Охренели, да?!
На ближних балконах появились зрители.
— Ларис! — кричали снизу. — Позвони в милицию! Пусть их, на фиг, всех забирают! Пьянь!
Лайма рвалась с поводка, лаяла, танцуя на задних лапах и молотя воздух передними: не нравилась ей эта свара, а хозяин не отпуская вмешаться.

И грянул ливень! Прямо-таки ниоткуда, при солнце.
Зрители сбились под козырьками подъездов, а на помощь огородникам выскочили под дождь несколько мужиков-добровольцев.
Бойцы падали, скользя по мокрой траве и глине, но сражение продолжалось. Под проливным дождём, под мат и вопли, роцинская компания позорно оставляла поле боя.
— Развелось вас — как тараканов! — давал поджопников Женька тому, который притормозил за столом на стопке. — Хозяева, блин! Разрешения надо спрашивать, чтобы посидеть у нас во дворе. И будете спрашивать. Научим! Шелупонь!
...Победители вернулись к столу. На нём тускло поблёскивали осколки стопки. А «соска» с пивом, странно, стояла как приклеенная. Юрка поднял с земли редиску, обмыл её под дождём и дурашливо заорал:

Эх, огурчики, да помидорчики!
А мы барахтались, да в коридорчике!

И смачно хрупнул редиской:
— А кто идёт за «Клинским»?
Мужики нервно хохотнули.

...Ночью Володя осторожно, чтобы не разбудить Татьяну, ссунулся с кровати, прошёл на кухню. Не включая свет, взял из холодильника кувшин с квасом и аппетитно, крупными глотками утолил жажду. Закурил.
За окном, умытый дождём, переливался огнями ночной город.
«Что же это за жизнь: ни горячего, ни холодного, — подумал Баркин. — Нет уж!».

Два дня жизни Икорникова

Сон

(первый фрагмент)

Его пригласили провести сеанс аудиосекса.

- Что-что?
- Ну, это, понимаете, когда только словом... воздействуют...
- Секс по телефону?
- Вы же — напрямую, не по телефону...
- В диалоге?
- Нет. Это, понимаете, действенный монолог. Вы — говорите, а они — представляют, фантазируют.
- И что?
- Напряженье снимаете.
- Как психотерапевт?
- И да и нет. Вы доводите слушателя до оргазма. Во всяком случае, должны довести. А врач — нет. И даже наоборот.
- Это что — же начнется? Точнее: кончать начнут — что будет?.. Престарелые онанисты, стонущие дамы...
- У вас в аудитории будут только девочки. Взрослым аудиосекс не нужен. Девочки во время этого сеанса снимают напряженье и затем не вступают в беспорядочные половые связи.
- Вы полагаете, это нормально?
- Жизнь диктует.
- И какой возраст?
- Одиннадцать — тринадцать лет. Да вам понравится.
- Я не знаю...

Осень

Стояло «бабье лето». Тучи накапливались, но солнце плыло по синей безоблачной лагуне. Было светло и тихо: слышно как слетевший кленовый лист царапает асфальт. В мягкой атмосфере ранней осени, и настроение было благое. Но сон не отпускал Икорникова.

«Приснится же! Аудиосекс — как антисекс. Супротив естества».

Он шел в гору по изуродованному траншеями переулку. «Рано что-то взялись: еще не дождей, ни снега». На вершине холма стояла жилая девятиэтажка. Большинство окон первого и второго этажей были зарешеченными. Икорников и в первый свой визит в корпункт центральной газеты обратил внимание на этот балкон: весь в цветах. Балкон застеклен, а там — оранжерея. И решетка. Кто пойдет на преступление ради цветов?

А может цветы такие?

Сон

(второй фрагмент)

Икорников вдруг оказался на тротуаре, какого-то летнего города.

Навстречу ему шли две девчушки лет двенадцати с розовыми бантиками на головах. Радостные такие. С хитринкой — тайной на лице. Пошентались.

И одна из них пробежала мимо Икорникова. Коротенькая (очень коротенькая) юбочка, к тому же красивая. Стройненькие, круглые к бедрам ножки. «Туда, что ли?» — изумился Икорников.

А вторая — все шла и шла навстречу ему. Не приближась.

И куклу в руках держала.

Собкор

— Крепкий материал. Перо бойкое.

Собкор, налитой, с залысинами мужчина партийной закваски, старался не смотреть в глаза: ручку вертел в пальцах. И губы облизывал. «Алкоголик, что ли?» — подумал Икорников и спросил:

— Почему — «бойкое»?

— Я хотел сказать, — собкор старательно снимал невидимую пушинку — пылинку с черной авторучки; взглянул на Икорникова, — пером вы владеете.

И снова занялся авторучкой.

Острый солнечный блик выстрелил в глаза Икорникову.

— Но...

— Что — «но»?

— Формула отказа: «У вас хороший материал, но...»

А дальше — суть.

Отказ.

— Нет, мы берем ваш материал. Но...

Икорников улыбнулся. Собкор тоже.

— Да, действительно... Региональная вкладка у нас — коммерческая.

Материал у вас очень большой: на полполосы, если не больше. Мы теряем площади под рекламу. Безо всякой компенсации, — собкор осмелел, чаще взглядывал на Икорникова, — вот если бы ваш заказчик заплатил нам как за рекламу...

— Вы считаете это нормальным? — Икорников разбавил многозначительную паузу.

За окнами потемнело.

— Мне никто не заказывал этот материал.

— Предположим. Но герой вашего очерка — строитель, бизнесмен, — собкор уже не отрывал взгляда от журналиста. — А наша газета ежедневно кладется на стол главам администраций всех уровней. В трех областях. Это все равно, что официальная поддержка.

— Я не знаю...

— Поговорите. Полполосы стоит шесть с половиной миллионов. По безналу.

Наличными — пять с половиной. Предоплата — сто процентов. Десять процентов — ваши.

Икорников поднялся.

— Такая газетная площадь у нас стоит в несколько раз дороже. Для вас — скидка.

— Почему?

— Материал настоящий. Для России, а не только для региона, — собкор поднялся, проводил Икорникова до дверей, открыл.

Звякнуло стекло в захлопнувшейся форточке. И уже закрывая за Икорниковым дверь, собкор добавил:

— Даю слово: мы не изменим ни слова.

И улыбнулся собственной тавтологии.

Снег

Икорников с трудом открыл дверь на улицу. Мощный порыв ветра втолкнул его обратно. «Ни хрена себе! Порыв природы!» Вышел.

Рассеченные хлопья снега со свистом впивались в него. Белый вой, пронизывающий серое пространство, внезапно затихал, и тогда было видно, что хлопья крупные и тяжелые.

Стихия буйствовала.

«А я-то думал, что рано начали рыть. Откуда у них такое сверхъестественное чутье?»

Он шел из корпункта вниз по переулку, навстречу ранней зиме и стихийному протесту. Угинаясь от ветра, скользнул взглядом по балкону с цветами и остановился. Снег, набиваясь за выступы рам, уплотнялся, цеплялся за живое тепло жилья, заштриховывал аквариум балкона.

А там — свет!

Непонятно зачем. Белые и розовые бутоны смотрелись крупно, ярко и жили своей жизнью, вопреки времени и стихии.

Новость

На студии — только и разговоров о внезапной зиме.

— Ужас! Апокалипсис, какой — то! Листья еще живые, а... ваще!

— Бунт природы. Реакция на социальные катаклизмы.

— Но так рано!...

— Было уже такое лет десять назад. Спитак, Чернобыль...

Ассистентка сказала, что звонил школьный друг Икорникова; у него отец умер; завтра похороны, просил прийти.

— Я все записала. И координаты его — тоже. Странно, что назвал вас «Егоркой». Давно не встречались, имя, наверное, забыл.

«Укатали сивку крутые горки». Позвонил другу, пообещал быть.

Будто жаром заполняло его: поднималось смятение и раздражение.

Отец друга, тихий мудрец, никогда не спорил и не лез на рожон. Но все печали близких и страны оставляли засечки в его больном сердце, накапливались. Он нес свой крест русского интеллигента: вечную вину перед гегемоном и народом. И вот...

В школе Икорникова называли «Икорка», а потом — «Егорка». Так и осталось. «А память у нас, милая, еще не отшибло. И встречаемся мы не по надобности, как вы, а по душе, — подумал Икорников. — А душа еще жива».

— Пора на запись, — напомнила ассистентка.

Запись

Икорников: Вторая, общий на аплодисменты. Первая, держи шоумена.

Ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! Вы смотрите еженедельное шоу «Русская тройка»! Именно — «тройка». А не «трио». «Русское трио» звучит как «нигерийская тройка», как квартет четырех деревянных ложек.

Икорников: Третья, возьми средний, зрителей!

Ведущий: «Русская тройка»! Это и гоголевская «птица-тройка», и тройка залетных с бубенцами и ... срединное положение России...

Икорников: Крупно-мужика: лысину чешет! Хорошо!

Ведущий: ...между Европой и Азией, И между социализмом и капитализмом, между «пятеркой» и «двойкой»!

Икорников: Внимание! Ролик!

Ведущий: По этим ухабам и несется наша «Русская тройка» с помощью спонсора программы фирмы «Секс-Тайм», что означает не время секса, как многие переводят, а — «Шестое время»!

Икорников: Пошел! «Русскую тройку» спонсирует групповуха под крышей «Шестого времени». Да еще как спонсирует: во все дыры!

Первая! Готовьте нашего шомика! В студии внимание!

Ведущий: Тема нашего сегодняшнего шоу — кони. Разные. Но всех коней, даже самых разных, объединяет одно: это... Что? Одну минуту! Я иду к вам!

Икорников: Третья! Перехвати его среди зрителей! Вторая — крупно отвечающих!

Ведущий: Итак — что?

— Это передача: «Про это»...

— Вот это ассоциации! Люди и кони. У лошадей нет секса!

— Грива!

— Грива — и у верблюда, и у осла...

— Копыта!

— Ну, да! Ну, да! У коз — пальчики!

— Ржанье!

— Что, что?

— Ржанье!

Икорников: «Что их объединяет с людьми».

Ведущий: Это интересно! Даже очень. Но у меня ответ другой. Пардон!

— Красота!

— Трудолюбие!

— Кто спрашивал у лошадки: любит она труд или нет?!

— Подкова!

— Не только у лошадей!

— Хозяин!

— Это любопытно. Один на всех?

— У каждой свой!

— У кого: «у каждой»?

— У лошади.

— Но мы о конях. Конь — не рабочая лошадь. А лошадь — это рабочий конь. Как — то так. По сути.

Икорников: «Были конями, — стали лошадьми».

Ведущий: Впрочем: и лошадей и коней ЭТО — объединяет.

Намекаю: тройка, семерка, туз!

— Преферанс!

— Покер!

— Джокер!

— Жокей!

— Ну, же! Карты!...

— Масть!

— Есть! Есть! Да! Да! Да! Вы попали в масть! Прошу ко мне! Вы-первым получаете жетон финалиста. Аплодисменты!

И предварительный приз финалисту!...

Икорников: Фонограмма готова?

— Да.

Ведущий: ...а танцевальный ансамбль «Поиск» приветствует первого финалиста «Канканом»!

Икорников: Пошли!

— А при чем тут кони и канкан? Какая связь?

Икорников: Ассоциативная. Прихоть спонсора.

В студии внимание! Эфир!

Ведущий: Итак — масть!

— Чалая!

— Чубарая!

Икорников: Третья! Возьми девочку с куклой. Крупно!

Ведущий: Дальше!

— Вороная!

— Гнедая!

— Сивка — Бурка!

— Что, что? Девочка!... Нет такой масти, но... Как тебя зовут? Диана?

Я засчитываю ответ Дианы! Твоя фамилия, Диана?

— Буланова.

— Как, как?! Буланова? Папаша! Ну! Масть!

— Не понукайте!

— Самое время! Ну!!

— Буланая, что ли?

— Да, да, да! Да-льше!

— Рыжая!

— Есть!

— Пегая!

— Да! И! И-И!..

— Каракотоя!

— Каракотоя! Засчитываю! И! И-и!.. Иссякли. Ну, что ж!..

— Розовая!

— Это чей ответ? Опять Диана Буланова! Диана, нет розовой масти!

— Есть!

— Где ты видела?

— На прянике. Да! На большом. И во сне...

— Bravo! Bravo свободе и фантазии этой девочки! Я засчитываю и этот ответ! Диана Буланова выходит в финал вместе с папашей! Их ответы: Буланая, бурая — в Сивке-Бурке, Рыжая и пусть будет — розовая! Приглашаю и вас!

Икорников: «Где я ее видел»?

Ведущий: Наша шоу-программа «Русская тройка» выходит на финишную прямую! А с нею и финальная тройка. Или четверка? Диана Буланова с отцом — это что? Кто? Это — кентавр! Где Диана — голова, а папа...

Икорников: ...жопа.

Ведущий: ...А папа... Ну! Физическая утремленность! Аплодисменты финалистам! Тема финала: «Конь в искусстве» — литературе, живописи, скульптуре.

— Пегас...

— Росинант...

— Диана, ваш ответ!

— Слепая лошадь...

— Это где? «Слепой музыкант» есть, а вот лошадь...

— У Толстого... Старая...

Икорников: «Где-то я уже видел эту девочку с розовым бантом...»

Ведущий: Не помню. Раз! Два!

— Полотно там... хосто... хосто...

— Да, «Холстомер»! Принимаю! Ваш черед!

— ...

— Время! Раз! Два! Три! И? Четыре! Ну! Пять!... Остается двое финалистов. Я увеличиваю время на размышление до 10 секунд. «Конь в искусстве» продолжается!

— «Конь бледный» Савинкова-Ропшина.

— Тройка на театре в Москве...

— Нет, Диана! Там не тройка, а...

— ...четверка!

— А как называется эта четверка на Большом? В зале тихо!

Господа, я прошу!

Икорников: Рекламный ролик готов?

— Да, но...

Икорников: Приготовились!

— Не по сценарию...

Ведущий: ...три! Четыре! Тише!

Икорников: Запускай! Порядок. В студии! Внимание! Мы принесем свои извинения: у нас накладка вышла. Продолжим после рекламы.

Ведущий: Мы не сможем продолжить! Это не по правилам!

Икорников: Смонтируем! Аннулируйте два последних ответа и... поехали!

Ведущий: Хорошо! Я снимаю «Коня бледного» и «Квадригу» Клодта.

Икорников: Maestro! Прошу вас: начните с вручения приза проигравшему финалисту! В студии внимание! Эфир!

Ведущий: К сожалению... К великому сожалению выигрывают не все. Вы-проиграли. Приз финалисту! Аплодис-

менты финалисту! А к финишу рвутся две... Два... двое. Поехали!

- «Конек-Горбунок».
- Отлично! Дальше. Время пошло. Два! Три!..
- Птица-тройка Гоголя...
- Нет, это — некорректно. Я — называл! Шесть! Семь!

Восемь! Ваш ответ?

- Увы! Ваш ответ, «кентавр»?
- Розовый конь...
- По той же причине не принимается: называли. Время!

Раз!

- «Витязь на распутье»!
- Что?!
- «Витязь на распутье»! Три дороги...
- Автор? Автор картины?!
- У него еще и «Три богатыря»!...
- Нет! Это — невозможно! Нет сил устоять перед обаянием этой девочки!

Да! Принимается Васнецов со всеми его богатырями, и Диана Буланова с ее ответами! Аплодисменты! Приз в студию!

Икорников: «Девочка, розовый бант и кукла.... Где?» — И попросил ассистентку раздобыть стакан водки.

Сон

(третий фрагмент)

Он лежал на кровати. Точно на кровати: перед ним, в ногах, сияла никелированная дужка. Скосив глаза влево, увидел три-четыре таких же кровати. Как в общежитии или в больничной палате. Над никелированной дужкой — вертикальная деревянная рейка (брусок?), покрытая лаком. За этот брусок двумя руками держалась красивая девушка и смотрела на Икорникова большими темными глазами. За нею угадывались еще люди (зрители?). Они смотрели в палату. Никто ничего не говорил, но стоял общий шум человеческой речи. «А кто же проводит сеанс, если я лежу?» — подумал Икорников. Девушка смотрела не в палату, а на него.

Одна из всех. «Иди сюда», — то ли подумал, то ли произнес Икорников.

И девушка, ухватившись за какую-то перекладину, вбросила ноги за никелированную спинку, на кровать. Уселась на спинке кровати.

И, продолжая держаться за перекладину, стала сползать ему под одеяло (Оказывается он лежал под одеялом!). Юбка при этом непостижимым образом оставалась на никелированной спинке, а ноги и сама девушка двигались навстречу ему. Девушка раздвигала ноги, поднимала их, согнув в коленях. Он тоже согнул ноги в коленях и поднялся. Сел. Одеяла уже не было. Два органа любви оказались напротив друг друга. «Ну? — сказала девушка. — Покажи! Все просто: только вставить». И он вставил.

Поминки

- Еще раз: земля ему пухом...

Они вчетвером сидели у школьного друга: хозяин, Икорников, халявщик и родственник друга, приехавший из деревни.

...Снег не таял, вьюжило как в феврале, хоронили покойника на пронизывающем ветру, а потому поминки в столовой не согрели. Друг пригласил Икорникова к себе: посидеть-поговорить, а к ним прицепился халявщик, знакомый с детства... да Бог с ним. А так как родственник остановился у друга, то они и продолжили вчетвером поминки. Жена друга ушла к свекрови.

Сидели долго. Был уже поздний вечер. Горечь истаяла, растворилась; циничные кощунственные нюансы возникали все чаще. Пора было расходиться.

- А то бы остался, Егорка? Что, на ночь глядя?

- Да я же — рядом.

— Оставайся, Егорка-Икорка, встрял халявщик. — Выпьем!

- Поздно.

— Тем более. Бросай якорь! — наступал халявщик. — Кстати! Может ты «Якорников», а?

— Не знаю. Может, и были когда-то Якорниковы, да корни потерялись...

— Иконников, — вдруг произнес родственник. — В «двадцатые» испугались и сменили на «Икорникова».

— Или «Игорниковы» были. «Егор», как много в этом звуке!.. — не унимался халявщик.

- Оставьте его, вмешался друг.

Но халявщик уже наливал в стакан.

— На посошок. Покажи Егорка. Все просто, Давай, За корни и кроны!

И опять вспомнился сон...

Дорога

Метель секла из-за угла девятиэтажки, слепила глаза. У второго подъезда стояли парни. «Догонят и попросят закурить», — подумал Икорников. Нащупал пачку, вытряхнул из нее пару сигарет и снова засунул руки в широкие карманы куртки.

— Закурить не найдется?

Икорников протянул приготовленные сигареты и двинулся дальше.

— А может штука найдется?

Икорников вытащил из кармана обрядовое полотенце:

— Вам это о чем-нибудь говорит? С похорон я. Туда с деньгами не ходят.

— Извини, брат.

Икорников накинул капюшон и отправился своей дорогой. А дороги не было. Все перемело. До своего дома оставалось минут пять-семь. Семь, если обойти садик; там. Возможно, тропинка. Пять — по целине между домами. И он, как слепая лошадь, устремился навстречу секущему ветру по целине. На секунду отвернулся от ветра: вытереть мокрое лицо и слезящиеся глаза.

Его догонял парень. Из-за угла дома показался и сразу — же скрылся второй.

— Подожди, братан!

Икорников взгляделся в лицо: вроде бы другой. Хлопнула форточка в чьем-то окне.

— Штуки не найдется?

— Ты уже третий, кто спрашивает «штуку».

— Это мы спрашивали, — парень не отрывал взгляда от Икорникова.

Из-за угла подбегали еще двое. В таких — же вязаных шапочках. «Головы, как черные залупы», — зло подумал Икорников.

— Я же вам сказал, что денег у меня нет!

— Да, брось ты! Подумай, с других берем больше.

Значит, им не нужны деньги. Это у них тренинг. Молодые волчата.

А волк — в кустах. То, бишь, за углом. Значит, нужно защищаться.

— Коля! — крикнул Икорников окнам девятиэтажки. — Николай!

Живое тепло жилья не пробивалось из-за окон.

— Че орешь? Ты же не из этого дома?

Уловка не прошла.

— Ну, что ж! Тогда — начнем! Кто первый?

Волчата стали кружить, выбирая момент для прыжка. Одного Икорников достал: тот тьякнул и упал. Но другой бросился под ноги ему. Икорников рухнул.

И вспомнил: во сне он видел девочку Диану.

Сон

(четвертый фрагмент)

Девушка одевалась. Одевался и какой-то парень слева, похожий на Икорникова, и улыбался.

— Нравится мне тут.

«Пожалуй», — мысленно согласился Икорников. Он сидел на кровати и смотрел в окно. За окном было солнечно и незнакомо. И какие-то горы синели вдали. «Хорошо! Они меня здесь не найдут».

Кто — «они», Икорников не знал.

Финал

— Ты, что — гребанулся?! — парень выхватил у другого кусок водопроводной трубы. — Ты его забил!

— А че он, сука?!

— Рвем когти!

— Я в карманах пошарю.

— Кончай, короче! Его нельзя было мочить. Было же сказано!

— А че он, сука!

— Заткнись!

Хлопнула дверь подъезда. Вышел мужчина с собакой.

— Атас!

Парни побежали к углу дома.

Икорников лежал в сугробе, без шапки. Лицо было залито кровью.

Снег, смешиваясь с кровью, стекал по лицу розовыми струйками...

Мне малым-мало спалось

— Ты — свободен! — объявила по телефону дочь, обрадовала отца. — Максим приехал и сам будет сопровождать Пашку: и в бассейн и на тренировку.

А Пал Андреич взъярился:

— Как это?! А когда Максим...

— Да я же тебе объясняю, — перебила дочь.

— Это я уже слышал! Ты что, не могла сказать об этом на пять минут раньше? Пока мать была дома?!

— Да успеешь ты на эту электричку. Еще в одном вагоне с матерью будешь ехать. Всё у тебя получится, отец.

Пал Андреич быстро переделся в садовый спецназ, схватил дежурную сумку с инструментом (тоже садовую), подумал, чтоб еще взять — и махнул рукой. Ладно. А то, действительно опоздаю.

На остановке маршрутки, идущие на вокзал, пролетели мимо одна за одной (когда такое было?!). Только «полторашка» от газировки затарахтела следом, захваченная вихрем. Не везет, так не везет!

На рейсовом автобусе приехал на вокзал за семь минут до отправки. Успел взять свой льготный билет, добежать до десятой платформы и на последней минуте заскочить в последний вагон электрички.

Маша оказалась в третьем вагоне от хвоста; сидела спиной к нему и лицом по ходу поезда. Соседи-садоводы увидели Пал Андреича, заулыбались, а тот приложил палец к губам: тихо! Подкрался и привалился к своей Марье на свободном рядом с нею месте. Жена и бровью не повела. Ничем не повела: будто не дома его оставила, а в тамбуре. Натура у нее такая: ворчать и прятать чувства. А сама рада. Пал Андреич знает об этом и не обижается.

— Явился — не запылится, — сказала Маша. — А Пашка?

— Максим приехал, сам будет. Я вот только покушать ничего не взял: торопился.

— Ладно. Сухарик я тебе найду. — Маша положила голову на плечо мужа. — На станции купим.

На станции, в Козырево, киоск был закрыт и пришлось идти в село, правда — недалеко. Купили колбасы, хлеба, рыбную консерву (зачем? Картошки все равно нет) и отправились к своему участку.

По старой двери, брошенной над хлябистым ручейком по камышовому сухостою вышли на свою улицу.

— Позавчера чуть Калмыковы не сгорели, — сказала Маша, шагая следом за мужем.

О Калмыковых вспомнила, потому что шли через камыш. Калмыковы — соседи, через два участка. Подожгли сухую траву на брошенном соседнем участке. От травы занялся камыш. А ветер погнал пламя к калмыковскому штакетнику и сруб бани. Еле отбились. А обугленный штакетник еще час сизо дымил.

Пал Андреич и Марья Васильевна давно понимают друг друга с полуслова, с одного взгляда. И молчать умеют красноречиво: тридцать два года вместе, научились. И через двадцать минут паузы вроде бы невпопад сказанная фраза находит свое место в потоке сознания и застревает там. Вот и сейчас: о погорельцах говорили, а Пал Андреич:

— Не надо было давать Пашке денег.

А всё потому, что прошли мимо крепенького с мансардой особняка зятя Максима. Из белого кирпича, на высоком фундаменте с крутой крышей домик, казалось, стоял на цыпочках.

— Ага! А он бы смотрел на других, да облизывался. А те — мороженое ели бы! — Деньги-то давала любимая бабушка, вот и стала грудью якобы на защиту Пашки.

— Тренеру надо было смотреть, — соглашается Пал Андреич. — А то — так, лишь бы...

Ездил тут несколько дней назад восьмилетний внук на соревнования по дзю-до в город Миасс. А перед соревнованиями наелся от пуза на дарованные бабой Машей деньги. А при взвешивании его и определили в более тяжелую категорию. А там он — никто. Вот и проиграл. Обидно.

Пал Андреич снял с калитки замок, поставил на ступеньки крыльца свою сумку и Машин пакет, ключом открыл дверь в домик и в первую очередь щелкнул выключателем. Света не было. Значит надо готовить костерок под чайник. Что-то в этом году — долго с электричеством.

В доме было сыро и зябко. Пал Андреич вынес на солнышко табуретку и креслице.

— Садись, Марья Васильевна! Жмурься, грейся!

Быстро развел огонь между двумя кирпичами, набулькал воды из полторашки в закопченный чайник и поставил его на кирпичи. А Маша ходила по огороду — в семье она агроном — высматривала что-то в грядках, клала ладонку на землю — как бы прислушивалась.

— Что, рано? — спросил Пал Андреич.

— Да я прям и не знаю, — вздохнула Маша.

Пал Андреич нашинковал колбаски, порезал хлеб, подготовил сахар, заварку, посуду. Ему нравилось быть в саду помощником жены. Он делал всё добровольно и с удовольствием. И в этой добровольности сквозила снисходительность сильного человека. Таскать, носить, копать, полоть — да за ради бога. А уж дела, где нужны мастерские руки слесаря или плотника — и недавно: но самое главное — всё это нравилось Маше.

— Готово! Садись.

Маша стояла подбоченившись, задумчиво глядела на огород. Пал Андреич присмотрелся: на линии взгляда жены торчал короткий стволник спиленной кем-то сосенки.

— Вот паразиты, — вздохнула Марья Васильевна.

— Да, ладно: другую посадим.

Маша положила на столик несколько маленьких перьев лука. Не к столу, а для констатации: через неделю свой будет, а не рыночный.

Чайник засвистел, Пал Андреич налил в кружки с пакетиками чая кипяток, потер ладони.

Годами выработалось: если собирались в сад, то утром дома не ели, а вот в саду на свежем воздухе, в теничке или на солнышке — да. Красота! Вот и сейчас: солнце, птички поют, высокое синее небо и голоса на соседних улицах. Голоса разносятся далеко, гулко в весеннем безлистном пространстве... Вот это и есть тишина. Солнце играет и молодая зелень травы замирает в восторге. Тихо. Только чайник громко курлыкает на остаточном жару и в душе поднимаются пузырьки радости.

Неожиданно в тишину врзалась чья-то FM-ка:

Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой.
Налей, дружок, по чарочке
По нашей фронтовой...

— Со вчерашнего дня воюют, — сказала Марья Васильевна, прихлебывая чай.

— Сейчас за снарядами отправятся, — добавил Пал Андреич.

— А чё? — из духа противоречия слабо возразила Марья Васильевна. — Праздник у людей.

— Вот и я о том же: горячего все равно не хватит.

Пал Андреич замер: где-то такое уже было — и песня и «горючего все равно не хватит». Ах, вон оно что! Точно: лет двенадцать-тринадцать назад, — тринадцать — точно, на 50-летие Победы. В саду Победы с трибуны говорили речи о вечных происках запада и о вечной признательности фронтовикам; у походной солдатской кухни раздавалась бесплатная каша. А по главной аллее шел 70-летний Никита Захарович — «НЗ» как называли его знакомые. Потом зазвучала эта песня: «Горит свечи огарочек».

— Здравствуйте, Никита Захарович!

— Здорово! — отвечал ветеран.

— С Днем Победы, Никита Захарович!

— И тебя, дорогой!

И все улыбался. Не только при встрече, не только, когда приветствовал знакомых, а... как бы это сказать... непрерывно, что ли. И радостно! Будто праздник был только у него, и все приветствовали только его.

— Как здоровье, Никита Захарович?

— Нормально, дорогой. Хорошо, дорогой! — И поднимал вверх указательный палец! — Палку в неделю — обязательно!

— Да ну?! — Не верила молодежь. — И горячего хватает?!

(Да, именно вот так: «И горячего хватает?»)

— Еще твоей могу отлить, — парировал НЗ.

И когда, потом, молодежь угощала его, он сказал назидательно: «Меньше спать надо». Выпил, поставил стаканчик и добавил: «И пить». И вдруг запел. Неожиданно красивым голосом:

Ой, то не вечер, то не вечер,
Мне малым-мало спалось...

...Вот этот случай с НЗ и вспомнил сейчас Пал Андреич. Даже в жар бросило. Вот это старик! Ай, да старик! А птички голосят надрываются! А солнышко — как на пасху!

— Ах, шлеп твою мать

За сынка такущего! — частушкой взорвался Пал Андреич.

— Ты чё, Паш? — хрустнула застарелым леденцом Марья Васильевна.

— А ни чё! Травка зеленеет, солнышко блестит!

— Да ты, чё?! — Марья Васильевна поставила чашку с чаем: удивилась сильно.

— Мы делать что-нибудь будем, или как?! Семян не взяли, ничего не прихватили! — неистовствовал Пал Андреич.

— Да найду я тебе работу, найду.

— А может на втором этаже поработаем? — испугался другой работы Пал Андреич. Подумал и испугался еще больше: слишком прямо, там спальня.

Марья Васильевна пристально посмотрела на мужа.

— А что? — зарыскал Пал Андреич. — Прибраться там, потрясти что... И вообще...

— Ну, и приставучий ты, Паша! — деланно возмутилась Марья Васильевна. — Как тополиная почка. Не отшоркаешься.

...Где-то через час Пал Андреич вышел на крыльцо, потянулся и выдал осипшим голосом:

— Ой, то не вечер, то не вечер.

Подумал: «Молодец у меня дочь».

Откашлялся. Глянул в небеса. Хорошо! «То ли май в гору пошел, то ли я с горы — приостановился». Похвалил себя. «Не знаю, не знаю. Но — хорошо! Да и День Победы завтра». Подумал, ухмыльнулся: «А мы — сегодня».

Ой, на гóре тай женцы́ жнуть

Ветер взмывает из-под кручи вверх, пузырит на спинах рубахи, упруго забивает глотки;

свист стоит в ушах — приходится кричать.

— Выгон был здесь! Выгон!

— Только хата Мушенкова стояла на круче!

— И дом Юльки Варенковой!

— Он — не на круче! Дом Юльки — вот он, на девятнадцатой линии!

— На девятнадцатой лайн-стрит!

— Теперь — лайн-стрит!

Три зрелых мужика размахивают руками, спорят; Иван Баникин, сухой, подвяленный солнцем мужик, старожил этих мест; ещё один старожил, живущий в доме умершей сестры Юльки Варенковой — Николай Пушкарь и бывший абориген «нахаловки» Андрей Варенков, двоюродный брат Юльки.

У них за спиной дома и хаты, стоящие на выгоне их детства; перед ними обрыв высокой кручи, источенной гнёздами-норами щуров, пойма Урупа, застроенная садовыми домиками и дачами. За Урупом — лес, река Кубань, синяя даль.

Полуденное июльское солнце слепит глаза и чтобы увидеть даль, нужно поставить над глазами ладошку козырьком. Иван убирает руку, трёт глаза:

— Ничего не видно! Солнце! А раньше — Эльбрус можно было увидеть!

— Рано утром и с кургана! — уточняет Пушкарь, устный летописец «нахаловки».

— Айда ко мне на огород сходим! — предлагает Иван Баникин. — А то орём тут!

— Пошли! — соглашается Андрей Варенков. — Время есть!

Андрей несколько дней назад приехал в отпуск, издалека, с Урала. Три года не был на родине. И поэтому поводу сегодня у Баникиных общий сбор родни и знакомых Андрея. А пока собираются, готовят стол, можно и побродить по памятным местам.

Они спускаются по лесенке с шаткими перильцами. Лесенка начинается почти у дома Пушкаря и по склону, заросшему ивняком, доходит до прудика вдоль участка Баникина. На середине спуска — родник, питающий прудик. Он всегда был этот родник, всю их жизнь: и в засуху и в половодье, и в лихие годы и в хлебосольные. Жив родной! Мужчины угощаются его студённой водой и Андрей плещет воду на толстого Пушкаря.

— Ты чё?! С ГЛУЗДУ ЗЪИХАВ?! — завопил Николай.
— Мне ж нельзя — я сердечник!

Андрей смеётся:

— Не бойсь! Это — живая вода!

Они с Иваном тоже освежают лица. Хорошо! Лепота!

— Щас ПРОТРЯХНЕСЬ на солнышке, — успокаивает Пушкаря Иван.

— Не, я домой. Сменю рубаху.

И Пушкарь поднимается вверх, колыхая бочковатым телом.

А Андрей с Иваном спускаются вниз к мостику из двух жердей в устье пруда.

— А почему он у нас Пушкарь? — вдруг спрашивает Иван. — Он же твой двоюродный брат.

— Бздел много в детстве, — смеётся Андрей. — Пердел. Дядь Жора так и говорил ему: «Ну, ты, сынок, пушкарь у меня». Так и пошло: пушкарь.

— Вот мой участок. — Баникин останавливается у покосившейся калитки.

Участок выглядит заброшенным. Хилый хозблок, несколько хилых же грядок, никакая картошка и... огородное пугало. На что тут можно позариться птицам? Даже подсолнуха нет.

— Когда нареzáли землю, удалось получить два участка: на себя и на дочь. — Иван усмехается. — Штука одна интересная. Мне регулярно, уже много лет, снится земля. Несколько раз в год — обязательно. Даже не земля, а нарезанные огороды. Причём сон — один и тот же: я знаю на какой дороге и какой по счёту слева мой участок; я знаю что и где на моём участке посажено и растёт; а вот участок — ЧЁРТА ЛЫСОГО, не могу найти. А?

— Да-а... А зачем тебе два участка? — спрашивает Андрей. — Да ещё и дома огород.

— Не знаю. Здесь я мало чего сажаю. Так... Трава для коз, да вот — вид. Хорошо ведь?

— Хорошо, — соглашается Андрей.

— Здесь вот прудик с лягушками да ужами, а там, у буруно́в, дом, — говорит Иван. — Там у меня — бассейн с проточной водой.

— Как так? Прямо из Урупа? — удивляется Андрей.

— Да нет. На участке родничок пробился. Если бы не наводнение, я бы давно закончил дом. А так...

Писали и говорили много об этом наводнении на Кубани. Заливало так, как сейчас Европу. Под крышами дачных домиков ещё видны следы той воды.

Помолчали.

— Я ещё под хутором Зуевом пятнадцать соток взял, — неожиданно продолжил тему Иван. — Под картошку.

Хутор Зуев — километрах в двадцати от города. Почти напротив станицы Советской, через Уруп. Там тянули свою жизненную лямку дальние родственники Баникина.

— А под Зуевом зачем тебе земля?

— Не знаю. Тянет туда. Но одному мне тяжело: сыну — не надо, зять не помогает. Не знаю.

...Во время рассказывания на Кубани из станицы Урупской выселили казаков. Станицу переименовали в Советскую и раздали жирные чернозёмы иногородней бедноте. Так появился в здешних местах красноармеец Володя Баникин. Тщедушного сибиряка, незлобивого и кроткого, быстро прибрала к рукам вдовая своенравная казачка Алёна; и политическую конъюнктуру уловила, и мужичок в хозяйстве пригодился. Работающий и безотказный Володя Баникин извёл себя, но хозяйство поставил. А потому попал под раскулачивание. И теперь бывший красноармеец, перерожденец и кулак бежал от советской власти

на шахты Донбасса. Там и спрятался. А потом — война. После войны, когда всё перемешалось, перевёз Баникин

по-тихому семью в Армавир, построил на окраине «нахаловки» ТУРЛУЧНУЮ хату. Потом рвал жилы на строительстве кирпичного дома, в котором и живёт сейчас Иван.

А земля ему, красноармейцу Баникину, так и не далась...

Иван похож на мать. Может поэтому ему снятся такие «генетические» сны?

— Айда сходим к дому, — говорит Иван. — Здесь недалеко.

— Да знаю я! Вон они буруны — отсюда видно, — сопротивляется Андрей.

И то: в доме Ивана стол накрыт, а они шастают тут по кручам. Нет уж!

В это время на круче появляется Пушкарь с кем-то. Они машут руками.

— Наверно нам машут, — говорит Андрей.

Иван оборачивается.

— Щас! Пушкарь с моим Лёшкой, сыном, — поясняет Иван. — Подождут.

— Да ХМАРА вон идёт, — Андрей кивает на небо.

Над кубанским лесом, над плато клубилось сизое седоватое облачко.

Иван даже не смотрит:

— Дождя не будет. Так — сходим?

— Иван! Я только приехал. Ещё зайду, посмотрим.

— Ну, ладно. Только обещай. А?

— Буду, буду.

...Во дворе дома под виноградом стол накрыт: салаты, фрукты, арбузы, водка и домашнее вино. И, конечно, сало! Как же без него. И малосольные огурчики — оглушительный раздражитель.

Гостей много, все говорят громко, вздёрнуто, предвкушая и радуясь. А когда возникает нечаянная пауза, то слышны голоса соседей — ближних и дальних — и даже звонкие голоса с Урупа.

В безветренном пространстве двора стоят тёплые запахи июля. Не плывут, тем более не носятся, а — стоят! Кажется, что каждый метр площади имеет свой запах: горячей лебеды и крапивы, ботвы помидор и арбуза, яблок и бордовых роз, и

ещё и ещё чего-то. Люди проходят сквозь запахи, наполняются ими и сами начинают пахнуть по-летнему.

— К столу! — наконец призвала Маша, жена Баникина. — Рассаживайтесь! Андрюша! Иди сюда, в ХОЛОДОК, рядом со мною.

И когда утих гомон, Баникин поднял стакан и сказал:

— Мы с Машей всем рады, но особенно тебе. — Он повернулся в сторону Андрея. — Это хорошо, что ты приехал. Хорошо, что ты приезжаешь: и мы чаще встречаемся. За тебя. За встречу!

Ну и всё пошло своим чередом.

Образовались группы по интересам. Зина, жена Толика, брата Андрея, разговаривала с Машей — они из одной станицы; Света, жена Пушкаря, наводила мосты со своей золовкой, сестрой Николая, а сам Пушкарь сцепился с хамоватым Завалюем.

— Шо ты тут мне КОНИКИ ВЫКИДЫВАЕШЬ? Так — не так...

— Та он СМАЛИЧКУ такой, — попробовала успокоить Николая жена.

— Брысь! — шуганул её Пушкарь. — Ты, Завалюй, был шкелет сопливый и таскался за нами как НАЛЫГАЧ за коровой! Не та-ак... Пятьдесят второй год. Уруп ГУЛЯЛ. Вода стояла на нечаевских огородах: вот здесь внизу, где дачи. Так же, как три года назад! Что? ПРИЖУК?

То-то же, помнильщик. Я предлагаю выпить за память. Нет, Завалюй тут не при чём. Его родители... И твоих нет, и твои ушли, твои... За родителей.

Молча выпили. Закусили.

По-над лугом зэлэнэньким,

По-над лугом

Зэлэнэньким, — вдруг неожиданно низким голосом запела Зина, жена родного брата Андрея, Анатолия Варенкова.

— Тётъ Наташа любила эту песню, — шепнула Маша Андрею. — Помнишь?

Андрей кивнул. Ещё бы: не помнить мамины песни.

— Брала вдова лён дрибнэ-энький, — высоко подхватили женщины.

Это удивительное искусство кубанских женщин: СТРОИТЬ голос, подладиться, спеть в лад с другими голосами, не нарушая гармонии запева.

— Давай, кум, подхватывай! — Иван махнул рукой Анатолию Варенкову.

Там Васи́лько сено ко́сэ,
Там Васи́лько

Сено косэ, — подхватывают мужчины...

Непостижимо: как? каким образом входит в нас народная песня? поселяется в душе и хранит её и лелеет? Что за механизм? Ведь никто из нас специально не запоминает эти песни; да и поются они за столом, где детям нет места. Да и не нравятся они нам, детям, эти взрослые непонятные песни; и не запоминаем мы слов этих песен. А они всё же приходят к нам с возрастом, как наследство и мудрость.

Сколько раз спорил Андрей с Иваном по поводу песни «Ой, на гóре тай женцы жнут»! и всерьёз и шутливо. Понятно, что «на горé» жнут. А раз «жнут» — значит «женцы», а не «женцы». А что такое «тайженцы»? Что за тайные саженцы?

— Отцепись! — говорил Иван. — Пристал как банный лист к жопе. Жнейки — женщины. А потому — «женцы». Ты пой с чувством: может когда-нибудь и дойдёт.

Ну, вот, наколдовал: Иван затянул «Ой, на гóре...». Его кум и брат Андрея — Анатолий, на ушах которого потоптался ни один медведь, сейчас «подхватит» песню. И будет петь.

Хотя ему всё равно: что «Марсельезу» на французском, что старую казачью песню петь — слов не понимает.

Только допели казачью, заорал неугомонный Завалюй:

— А это помнишь, Иван?

У Баникиных гулянка:
Значит там большая пьянка.
Ради сына и отца —
Дайте ЖМЕНИЮ холодца!

Вся «нахаловка» знала о частых застольях у Баникиных. То ли Баникины были хлебосольнее других, то ли дух там особый, но родня и знакомые любили собираться по праздникам у них. А праздников у нас — ого-го! Вот и сегодня — пожалуй-

ста: приехал Андрей, надо было собраться в доме родителей Андрея, а собрались здесь.

А частушки уже пошли с приплясом:

Мы бывали на Урале,
Но такого не видали:
Чтобы вот такой амбал
Никого не отъе...

— ...! — закончил Завалюй.

— ...не отнимал, — уточнила под хохот Зинаида.

Амбал, да с Урала — ясно в чей огород булжжик.

Жена Завалюя пошла грудью на мужа:

Милый якобы во сне
Засадил все грядки мне.
Я проснулась и реву:
Засадил бы наяву.

Люба Пушкарка подошла к Ивану и что-то сказала на ухо.

Они отошли. Пошептались.

— Я сейчас... — Иван хватанул водки, вытер рот ладошкой.

— Что-то случилось?

— Нет. Я сейчас, — повторил Иван и вышел на улицу.

Андрею показалось, что очень уж резко переменялось настроение Ивана: будто в котёл попал на реке Кубани. Он встал из-за стола.

— Сиди, — сказала Маша.

— Да, ладно! Я так, поозираюсь: давно ведь не был.

И тоже вышел.

Иван поворачивает за угол. Андрей спешит за ним. За углом кликает Ивана. Тот останавливается.

— Ладно, — говорит Иван, — Пойдём. Он, сука, сейчас у Мацепурихи.

— Кто?

— Та зять! Хером его взять. Любка сейчас сказала. А ей — соседи.

— А что он делает у тётъ Маруси?

— Да причём тут тётъ Маруся?! Внучка её, Светка... Мне говорили, что он бегаёт туда — я не верил.

Они поворачивают на Ленина. Вот хата, где в детстве жил Андрей. А рядом — дом его двоюродной тётки. Она и есть Мацепуриха. Тридцать лет уже вдовствует тётъ Вера. Дочь её, Надежда, избалованная с детства, жила и живёт беспутно и своенравно: имеет третьего мужа и одну дочь от первого. А Любка, дочь, живёт НЕ С бабкой, а ПРИ бабке: помочь когда — старая ведь — и потихоньку подбивает тётъ Веру переписать на неё дом. Уже два года бабка в осаде.

И вот разведка донесла, что сейчас у Любки зять Ивана.

Иван стучит кольцом калитки. Отзывается тенорком собачонка.

Во дворе дом и ВРЕМЯНКА. В щелку видно, как во времянке за окном шевельнулась занавеска.

Иван приоткрывает калитку — дежурный лай собачки переходит в регистр простуженного тенора: с хрипом, натугой и даже кашлем.

Иван продолжает стучать. Наконец-то из дома появляется тётъ Вера.

— Та замолчи ты! — машет рукой на кобелька тётъ Вера. Прищурилась. — Проходите, он не достаёт.

Хорошо ещё видит старушка. Стойт, держится за стенку. Два дня назад Андрей заходил к ней, поэтому его сегодняшнее появление не удивляет старушку.

— Та замолчи же! Шо б ты СКАЗЫВСЯ!

Она прогоняет шавку в конуру. Та спокойно, выполнив работу, поволокла цепь к будке.

Андрей обнимает тётку.

— В гости? — улыбается тётъ Вера.

А Ивану не терпится.

— Та нет! Скажите, Любка дома?

— Была, не знаю...

— А где? В доме?

— В доме нет.

— Значит, во времянке? Я посмотрю?

И не дождавись разрешения, Иван устремляется к лёгкому домику в глубине двора.

— Шо он? — спрашивает племянника тётъ Вера.

— Скажет сейчас. Я сам толком не знаю.

— А може винца пока? Не ПОГРЕБУЕШЬ?

— Да нет! Я же — на гулянке.

— Была дома, была, — говорит через паузу тётъ Вера. — Кто-то приходив до нэй...

— Кто?

— А хто зна.

Тётъ Вера поправляет беленькую косынку; затягивает узловатыми, опухшими в суставах пальцами, концы косынки под подбородком:

— Мелькнула голова за окном — не знаю...

И тут выскакивает Иван из времянки:

— Не бреши!

— Да не было ничего, дядь Вань!

— Не успели!

Иван вдруг останавливается:

— А сиськи наружу? Пол мыла?

— Так... Лето... — теряется Любка.

Она стоит в купальнике молодая, сочная.

— Тётъ Вер! Вам зачем окно в огород? — Иван машет рукой в сторону времянки. — Кого сторожить?

— Тю-ю! Ты — шо?

— Через окно гад выскочил! Уже дома наверно.

Огород Мацепурихи задами выходит почти на ПЛАН Ивана: всего через одного соседа. А потому зять мог перелезть в огород соседа, а оттуда — уже к себе домой. Вернее — к Баникину.

— Пошли! — Иван направляется к калитке.

— Та шо ш ты ничёго... — опешила старушка.

— Она всё расскажет. — Иван ткнул пальцем в сторону Любки. — Обрисует.

Кобелёк гавкнул для росписи, чем и утвердил резолюцию. А для пущей важности поднял заднюю лапу на ствол абрикосы, растущей возле будки: точка.

А во дворе Баникина застолье продолжается. Николай Пушкарь колышется за столом и темпераментно доказывает всё тому же Завалюю:

— Да на Ленина тогда ещё и профиля не было, шоссейки. Гуси траву по улице щипали, как на хуторе. Я же сто лет здесь! На углу — Долина, он хлопает по спине Свету, жену, члена большой семьи Долины. — Дальше: Варенковы, Мацепура, прокурорша... Что ты! Я же всё помню.

Во двор стремительно входит Иван, за ним — Андрей.
— Где вы ходите? — спрашивает Маша. — А здесь как раз Игорёк пришёл.

Игорёк — и есть зять.

— Я знаю! — рывкает Иван. — Где этот ГАВРИК?

— В доме...

Баникин влетает в дом.

— Игорь! — кричит Завалюй. — Леопольд, подлый трус, выходи! Штрафную получи!

И тот выскакивает из дома, как пробка из-под шампанского, спотыкается об обувь, стоящую на крыльце и падает вниз со ступенек.

А на крыльце появляется Иван:

— Давай! Звездуй в свою Горькую балку — хватит с тебя сладкой жизни. Пожуй солому! Хорёк-Игорёк!

За столом стало тихо.

Игорь поднимается, угнув голову и пряча глаза, шкандыбает к калитке.

В тишине мекнула коза.

Маленький кобелёк, похожий на дикобраза, неожиданно рыкнул басом в своей будке, закрытой пустым ящиком.

А Завалюй — икнул.

Повернувшись к гостям, Баника-воин подводит итог празднику:

— Всё. Паска кончилась. Шашки наголо, казаки. По коням...

И садится на ступеньки крыльца.

Недоумевая, переговариваясь в полголоса, как в доме покойника, гости стали подниматься, прощаться, расходиться. Шёпотом спрашивали Андрея о причине гнева Баникина, хотя наверняка догадывались. Андрей дипломатично пожимал плечами: не знаю.

Гости разошлись.

— Давай.

Иван подошёл к столу, налил в стаканы водки.

Выпили они с Андреем молча.

Из дома доносился плач дочери.

— Переживает? — спросил Андрей.

— Ещё бы! Не БУДЯК ведь выдернули. Да и стыдно. Ничего. Сколько можно с этим чириком ходить? Отболит.

Свинцовые тучи зашли с востока, а солнце покатилося на запад. Над кручей взметнулся мощный смерч, унося в своей воронке зазевавшегося щура. По садам сквозанул резкий порыв ветра — будто взмахнули гигантским веником. Сухо, с треском громыхнуло небо и стало тихо.

Иван плеснул ещё водки.

— Ой, на горе тай женцы жнуть... — подперев рукой голову, он запел как-то расслабленно, но сосредоточенно.

— Ой, на горе тай женцы жнуть... Не на горé. На горé жнут, на горé, — бесцветным голосом прокомментировл Баникин.

А по-пид горою

Яром-дольною

Казаки идутъ...

Звуки выходили толчками, как кровь из раны, и в паузах, в насыщенном электричеством воздухе были слышны всхлипывания дочери и детский смех, голоса соседей и выкрики купающихся на Урупе людей.

Предзакатное солнце уходило от города за отроги Кавказа, в чужую даль.

Уходил день.

Исчезала эпоха.

*Маме, Наталье Акимовне Мишутиной,
с любовью и пониманием посвящая*

На золотом краю России

*Дорогу, что вела из детства,
Не изменить и не вернуть:
Она, как эхо, безответна,
Единственна, как песни путь.*

*На золотом краю России,
За краем половецких веж —
Мой инкубатор самостоятельный
И родина моих надежд.*

Даль

Чётко помню ступени крыльца. Крыльца не помню, может, его и не было. А вот ступени! Их было три: толстые, широкие доски-плахи; не выщербленные, не стёртые десятками подошв — ровные, чистые; не мытые, влажные после уборки, а — сухие и чистые. И сразу со ступенек открывалась даль. Т. е. не то что открывалась — она ничем не была скрыта — а прямо от ступенек начиналась, простиралась неограниченно и продолжалась за горизонтом.

Дом помнится квадратным, под железной крашеной крышей, с белыми стенами. А кто в нём жил — не помню. И были ли другие жилые помещения — неведомо. Наверное — да. Потому что поселение в степи называлось «2-й участок»

А если это было отделение какого-то совхоза, то, значит, были рабочие и где-то эти рабочие жили: в домах, хатах (но не в землянках, землянки появятся после войны). Но я помню только свой дом, в котором наверняка жили и другие семьи, и... конюшню. Ступени крыльца выходили в степь, а где-то за домом была конюшня.

Конюшня была широкой, приземистой и казалась невероятно длинной. Крытая потемневшей от дождей соломой она была «птичьим базаром», колонией для тысяч воробьиных семей. Внутри стояла прохлада и невообразимый воробьиный крик. Воздух вибрировал от этого звона, голос приходилось напрягать.

Конюшня была пустой. Шло лето 1943 года. Какие кони, откуда? Война. Может, и была пара-тройка лошадок, но через торцевые, настежь раскрытые двери конюшни сквозили только прошлые, сухие запахи.

Мальчишки приходили на конюшню разорять воробьиные гнёзда — «драть гнёзда» говорили они. Среди этих сорванцов был и мой старший брат Николай. Ему было десять лет и мать, уходя в поле, оставляла меня на его попечение. Для попечителя я был сплошной помехой, и он с товарищами ставил по кругу на попа пустые бочки из-под бензина (их почему-то было много), плотно одна к одной, а в образовавшийся круг-колодец сажал меня. Находил несколько гаек и болтов и бросал мне вместо игрушек. Мне, трёхлетнему, выбраться из этого плена было не по силам, и я уливался слезами, слизывая их и размазывая по щекам. За эту дискриминацию я жаловался матери, мать журила старшего, не наказывая. Я оставался неудовлетворён и затаивал обиду. И поэтому однажды, когда мать застала меня пожирающего прямо с руки самодельное коровье масло, я сразу же, спрятав руку за спину, выпалил, не задумываясь:

— Меня Коля бий!

Мать улыбалась и говорила:

— И смех, и грех с вами.

Я выходил на крыльцо, на ступени. В распахнутую сухую степную даль. Высоко в небе медленно парил коршун. А впереди: белёсый в мареве горизонт, белая трава под июльским зноем — даль.

Не казак я и этим не горд,
И не склонен лечиться печалью.
Но распахнутость степи и гор
Мною впитана в детстве, в начале.

Горизонта не знала земля,
И сливалась с полуденным небом;
И до гор устремлялись поля
Золотыми колосьями хлеба.

Во все стороны — только Кубань,
Золотая окраина пришлых:
Казаки, мужики и рвань —
И в былые века, и присно.

Крещение

В 1942-м году немцы вломились на Кубань и в моём доме поселились чужие. Это были рядовые немцы, разлучённые войной со своими семьями. Один из них доброжелательно относился к нам и пробовал даже беседовать.

— Арбайтен, — говорил он про себя и показывал жеста-ми, чем он занимался. Похоже, что слесарил. Рабочий, стало быть.

Вытаскивал фотографию семьи со своими киндерами, долго смотрел и вздыхал:

— Гитлер — дурак, Сталин — дурак...

Иногда он брал меня на колени и спрашивал:

— Фатер... папка... где?

— Немса бьёт, — бойко отвечал я, а мать замирала и бе-лела лицом.

Немец опускал меня на пол, вставал, подходил к окну, смотрел в зябкую белую даль и снова вздыхал:

— Гитлер — дурак, Сталин — дурак...

И вот этого незлобивого немца и его товарищей мать решила уничтожить. Теракт она собиралась совершить со своей подру-гой, Марией. Маруся Шипицына была женщиной решительной и бойкой. По всей вероятности от неё и исходила инициатива. Подруги шептались, секретничали — готовились. Присматри-вались, как и где постояльцы держат оружие и гранаты; как несут службу часовые; намечали пути своего отхода, т. е. по-бега. Назначили день «Х»... и отказались от акции.

— Гранатой хотели взорвать, — рассказывала мать. — Да тебя жалко стало. Мы бы погибли — ладно, а вот ты...

Поразительно! Тридцатилетние женщины, в расцвете и вот так лихо, жертвенно: «Мы-то, ладно...». Старший сын нахо-дился в Армавире, у бабушки с дедушкой, от мужа уже полтора года ни слуху, ни духу — пропал без вести, а немцы — причина всех несчастий — вот они. Да Шурика жалко...

Мы с матерью, Натальей Акимовной Мишутиной, спасли друг друга в этот раз.

На Бога надейся, а сам не плошай. На Бога в этот раз не надеялись.

Но как только прогнали немцев, мать решила заручиться и поддержкой Бога.

Зима сорок второго — сорок третьего года была снежной и морозной, а потому — долгой, необычной для Кубани. Вы-просила Наталья Акимовна лошадёнку у начальства и по фев-ральскому вьюжному снегу на санях отправилась в Армавир: Шурика крестить. Крёстной матерью быть попросила всё ту же неугомонную Марусю Шипицыну, а крёстным мать надеялась уговорить в Армавире старого товарища отца со смешной фа-милией — Резинка. Звали его Степан. Он был весел, хром и могуч. Санями правила будущая крёстная, а мать держала меня, закутанного в платки. Боевые подруги, уворачиваясь от ветра, беседовали, строили планы. Немцы и полугода не про-держались, и слава Богу, впереди вторая военная весна, воды будет много, травы — тоже, сытым будет небольшое стадо, а им дояркам и на душе теплее от этих мыслей и разговоров.

Подпрыгивая на сугробах и колдобинах (война!), не за-метили, как стрясли с меня один валенок.

— Ваенок! Ваенок! — верещал я закрытым платками ртом. За ветром за разговором вопли мои не достигали цели.

Наконец мать обратила внимание на меня.

— Стой! Маруся, стой, остановись! — толкала мать под-ругу. — Валенки потеряли!

— Тпрру! — натянула поводья Шипицына. — Где?

— На дороге где-то.

— Под сеном поищи!

Охапки сена, брошенные в сани для мягкости и для корма лошадке, перерыли не один раз. Нету. Как черти с квасом съели. — Поворачивай! Надо возвращаться.

— Плохая примета, — возразила Маруся.

Мать задумалась. В лихое время во что только не станешь верить. Но валенки ведь чужие.

— Нет. Что скажу Кононенчиче? Да и замёрзнет Шурик.

— Осталось пару километров до Армавира: не замёрзнет. А у Кононенчихи некому уже носить эти валенки. Ты же знаешь. Мать знала: сына Галины Кононенко, восьмилетнего Витьку, убило осенью. Осколком рванула дурная, бесцельная бомба.

Мать села в сани, надела на мою ногу в шерстяном носке свою рукавичку, взяла меня на колени, укутала полрой пальто:

— Поехали.

На Кубани, по Дону, над Волгою
Оголтелые ветры снуют,
И кровавой сырою тревогою
В три погибели душу гнут.

И отбросив скрижали, где вилами
По воде был написан текст,
Мать со страшной языческой силою
Уповала на Бога и крест.

Затемнение всюду и сумерки.
Ещё сотни сумрачных дней...
«Открести, Иордань, от безумия,
От убоя своих детей.

Осени крестом, как защитою.
Раствори в купели грехи.
Сколько павших в земле, несчитанных —
Ты оставшихся сбереги.

Если правда — ты праведный, Боже,
Жизнь безотчюю сохрани:
Потому что единственный, может,
Отче наш — ты на поле войны.

Пусть у мальчика будут даты,
И хороший для жизни друг;
Может, он нарисует когда-то
Незабвенный солнечный круг».

В феврале дата мамы рожденья.
В феврале снятся летние сны.
В Армавире я принял крещение
Посреди ветров и войны.

Цоб-цобá

Мне нравилось, когда мать поручала меня совхозному па-
стуху деду Дубинскому. Его все так и звали: дед Дубинский. Не
по имени-отчеству, не дед Григорий (Петро, Иван), а именно:
дед Дубинский. И звучало это нераздельно и звучно, как «поле
широкое», «лес зелёный» — «дед Дубинский».

Был он лохматый, седой, коренастый, пас небольшое со-
вхозное стадо бурёнок и мастерски «стрелял» кнутом. Кнут
у него был знатный: начинался от кнутовища двенадцатью
ремнёвыми жилами, искусно сплетёнными в плотный цилиндр,
переходил в десятижильный стволик, затем — в восьми, шести
и так далее, и заканчивался волосяной косичкой из гривы коня.
Кнут был длинным, упругим, красивым.

Дед Дубинский, взявшись за кнутовище, раскручивал кнут
над головой как пропеллер, затем резко дёргал рукой в сторону
и кнут «стрелял». Звук получался сильным, хлёстким. Корова
поднимала голову, смотрела на деда Дубинского — вступала
в диалог. А находилась бурёнка у самой кромки поля шелко-
вистых зеленей.

— Шо, не поняла?! — грозно говорил дед Дубинский

Бурёнка понимала и, мотнув головой, отправлялась к под-
ругам.

— Во так! А то, ишь ты, — ворчал дед Дубинский.

Только хитрющая Ночка умела усыпить бдительность
деда Дубинского и хватануть пару раз сладчайших стеблей
пшеницы.

— Куда пошла, курва?! — Ярился дед Дубинский. — Ноч-
ка! Ах, ты! — он «стрелял» кнутом и направлялся в сторону
нарушительницы границы.

Ночка, последним хапком вырвав с корнем кустики пше-
ницы, убежала к стаду, смешно мотая из стороны в сторону
огромным выменем.

— От курва, — сокрушался дед Дубинский. — Знает:
нельзя, а вот...

Ночка была рекордисткой, давала молока больше других
коров.

Её все любили и нежили. Умная скотина, похоже, понимала
это и во всю эксплуатировала эту любовь к себе.

При встрече с матерью я радостно вопил:

— Мам! Мам, я научился коров ругать!

— Как?

— Куда пошла, курва! — цитировал я деда Дубинского.

...Стояло лето 1943 года. Война откатилась за Дон, к Прохо-
ровке. Закончились бои в небе над Кубанью: жаворонки залива-
лись в синеве. Было тепло, зелено, мирно. Дед Дубинский в тени
ивняка вырезал мне свистульку, я, сморенный летней благодатью,
посапывал на его телогрейке, коровы покойно паслись.

Хорошо!

Хорошо, что я сегодня не на попечении старшего брата. Хорошо, что у меня сегодня игрушками были не болты и гайки — а свисток из ивового прута. Синее небо, жаворонки, зелёная земля без края, дед Дубинский, Ночка, кнут и свистулька.

Хорошо!

Мама моя была дояркой. Не только сейчас — и до войны тоже. Я помню её на фотографии: за спиной море, она с подругою на валунах у воды; стоит в полный рост, до плеч волнистые волосы, солнце в них купается; они с подругою смеются; надпись на фотографии: «Геленджик. 1937 г.». 24 года маме. Говорила: «За хорошую работу премировали путёвкой на море». А год был — 1937. Странно...

Так вот: дояркой она была и в сорок третьем, и всю войну. Иногда ей поручали возить воду из реки, из Урупа. Вода, по всей вероятности, предназначалась для скотины, потому что в Урупе всё лето вода грязная: то серая, то желтоватая — в зависимости от того, какую почву размывают потоки горных ручьёв и речушек Кавказа. В водовозку (громкая деревянная бочка на бречке) впрягали двух быков, вернее — волов, и потихонечку — «цоб-цобэ» — отправлялись к Урупу. Там, захав в воду, черпаком наполняли бочку и отправлялись обратно. И так целый день, пока не заполнятся ёмкости для воды.

На этот раз она взяла меня с собой. Мы сидим с ней на «облучке» — место между бочкой и волами. У матери в руке палка: не подгонять волов — их не подгонишь, — а управлять ими. «Цоб!» — говорит мать и касается левого вола. Значит — поворот влево. Левый вол смещается и тянет за собой правого. «Цобэ!» — говорит мать и тычет палкой в спину правого вола — и мы со скрипом поворачиваем направо. Иногда она говорит слитно: «Цобцобэ» и мы движемся прямо. Никаких вожжей, узды: ярмо и палка.

Равномерность, размеренность движения утомляет, но ускорить движение невозможно: волы не бегают. Меня сморило от жары и размеренности движения, и я прислоняюсь к матери. Подъезжаем к спуску к реке. Дорога усеяна галькой и бульжниками, скрипят дышло и ярмо. Нас нещадно трясёт, волы вдруг ускоряются, и я падаю вперёд на дышло и под колёса...

Ни «тпру», ни «стой» на волов не действовали. И к другим, совсем уж безумным выкрикам матери, волы оставались индифферентны. Из-за огромной бочки матери не видно, что там позади, что со мной. Мать отчаянно выбрасывается на

дорогу, а волы, зайдя в реку, с наслаждением потянулись к холодной воде.

Спотыкаясь и падая, мама подбежала ко мне. Я молча сидел на дороге с глазами полными слёз.

— Ручку не больно? — истерично спрашивала мать, хватая меня, то за одну, то за другую руку.

— А ножки? А?! Шурик! Сыночек! — Она осматривала и мяла меня, ничего не видя и ничего не чувствуя. — А может — головка? Ну что ты молчишь?!

И тут я заревел. Очнулся от дрёмы, испугался, глядя на безумное, в слезах лицо матери — и заревел. Мама села на дорогу, взяла меня на руки и стала раскачиваться, убаюкивая свой страх и мой испуг.

В июльский зной, на белой каменной дороге сидит женщина с ребёнком и оба ревут. А в реке, отмахиваясь от оводов хвостами, волы пьют воду. Пейзаж...

Вечером мать искупала меня в цинковой ванне. После чего, ополоснув ванну, вновь налила в неё кипятку, разбавила его холодной водой; сделала какой-то подголовник, вместо подушки, и уложила меня спать. В тёплой воде, накрытый простынёй, я засыпал быстро и с удовольствием. Она и раньше иногда меня так укладывала. С чем это было связано — не знаю. Но часто, я уверен, она так делать не могла: нужно было не только спеть колыбельную, но и поддерживать температуру воды не один час, а затем уложить в кровать. А сколько у неё оставалось сил после трудового дня сорок третьего года? Да и вставать надо было до зари, на дойку.

Чем держалась?

Любовью?

Чем?

Моя странная мама, невзирая на снег,
На холодный январь 43-го года,
Когда души сводило от страха у всех,
Для меня, малыша, грела долгую воду
Моя странная мама.

Моя странная мама, невзирая на страх
(А в тепле у плиты — постоянные немцы),
Презируя возможный жизненный крах,
Колыбельную пела нелепо младенцу
Моя странная мама.

Моя странная мама роняла слезу,
Обжигая слезою в купели ребёнка,
И крестила тайком — отводила грозу,
И сплетала надежду ниточкой тонкой
Моя странная мама...

Гуси-лебеди

Я не знал в детстве сказки о Нильсе, которого унесли дикие гуси. А вот с гусями был знаком. И не однажды. И боялся этих громадных птиц так же, как дворовых собак.

Хутор Красин. Смутно помнится улица с плетнями на низком, заливаемом берегу Урупа. И гуси. С диким клёкотом они разбегаются, тяжело взлетают, пролетают надо мной, чуть не задевая белыми брюшинами, и опускаются в конце улицы, галдя и вытягивая шеи. Улица кажется долгой, а гуси — громадными. Я отбегаю к плетням, прижимаюсь-прячусь в лопухах от взгляда злого гусака-вожака. Меня не успокаивает то, что он далеко: догонит, знаем, встречались. Жёсткий, как плоскогубцы, клюв, крылья, хлещущие, будто хворостины... Жуть! И уважительный трепет слабого существа: сильные, летающие, они не боялись собак и потому не могли не вызывать уважения. Их дикие братья-лебеди завораживали меня по весне. В пронзительной, густой синеве — ослепительно белое в лучах утреннего солнца чудо — стая лебедей. Она молча проплывала в ту же сторону, куда стремился Уруп — на север. В сальские степи? В камыши Дона? Лебеди скрывались за высокой, тридцатиметровой кручей западного берега Урупа, погружаясь и истаивая в прозрачной зелени весеннего леса.

А я стоял, задрал голову, ожидая повторения чуда.

А по реке неслись белые льдины. Может, и не белые, может быть, серые, но тоже как гуси-лебеди.

Уруп в половодье стремителен и буен. И через десять лет он докажет свою неукротимость: снесёт мост с бетонных быков у Армавира, волоча тонные валуны по своему каменистому руслу.

А сейчас — весна сорок четвёртого. То ли конец февраля, то ли март. А я — на льдине. Папанинец, блин. Ору благим матом и уливаюсь слезами. Как я на ней оказался — не знаю. И никто мне об этом не рассказывал. Плавать я не умел: это потом, лет в восемь-девять я тонул и научился держаться на

воде. Льдина несётся по стремительному стрежню реки и — никого вокруг.

(Лет до семнадцати я не мог взять в толк: как это можно плыть вверх по реке? Что это за река такая? Чтобы сравняться со скоростью течения Урупа или Кубани, нужно не просто быстро идти, а бежать. Потом я увидел такие реки.)

Бешеный поток реки ударялся на излучине в кручи западного берега и отброшенный ими устремлялся к противоположному берегу, к хуторскому, но далеко за хутором. Это возможно меня и спасло: льдину вынесло к берегу, а там уж меня подобрала.

Господи! Сколько же мук переполняет воображение матери после спасения чада? А если бы льдина перевернулась? А если бы Шурик соскользнул со льдины? А если бы в воде уже расплющило льдинами? А если бы... Не дай Бог!

Он и не дал. И на сей раз судьба была милостива.

Наверное, и на этот раз я засыпал в тёплой ванне.

А в синем небе — лебеди.

А на реке — ледоход.

Где-то там отгремели грозные
И затихли залпы войны.
Где-то здесь, одетая прозою,
Жизнь прекрасна, как звон весны.

Возникают из пепла серого
Дети, лебеди и цветы
И желанье самое первое:
Хлеба, мира и красоты.

По-весеннему ветры зябкие
Просквозят над живой страной.
Лебединый клин — указателем
Возвращения к жизни иной.

И над всем — синева холодная,
Беспредельный света простор.
Над землёю, войной обглоданной —
Лебединый летящий хор.

Кендюхи

К концу сорок пятого мы были уже в Армавире. И тому, наверное, есть причины. Здесь жили родители матери, дед Аким с бабушкой Ефросиньей, родная сестра мамы тётя Женя и брат её Гриша; отсюда уходил на войну самый успешный и талантливый среди Кендюхов (девичья фамилия матери — Кендюх) дядя Ваня. Художник и врач. Или наоборот. В 45-м все были уже людьми взрослыми, с семьями и детьми. Была ещё тётя Оля, старшая из сестёр матери, но она жила в Мариуполе.

Аким Иванович Кендюх родился в 1870 году. Первая жена Акима Кендюха умерла при родах, но первенец — выжил и дед назвал его почему-то Акимом. Акима Акимовича я никогда не видел. Когда дед женился второй раз на девице Ефросиньи 1880 года рождения, то эта девица и стала матерью, а не мачехой мальчику Акиму. Но жизнь его пошла раздельно с жизнью гнезда Акима-старшего.

У дедушки с бабушкой было семь детей: одна девочка умерла в детстве, другая (Вера) — умерла в 1944-м году, дядь Ваня погиб в Праге, в мае 1945 года, остальные выжили.

И вышло так, что Армавир стал вроде «родового гнезда». Моё же рождение произошло в селе Бароновка, недалеко от Армавира, а детские годы матери, её сестёр и братьев прошли вверх по Урупу в селе Трёхсельском, за станицей Урупской (теперь — Советской); потом жизнь разбрасывала семью Кендюхов по Дону и Кубани, и вот снова они собрались — почти все — здесь, в Армавире.

Аким Кендюх: славный, тихий, мудрый дед; небольшого росточка, сбитый, подтянутый, неторопливый и спокойный. На приятном квадратном лице — аккуратно подстриженные усы и короткая, клинышком белая бородка с бакенбардами. И весь он — белый и опрятный. Глубоко сидящие голубые глаза говорили больше, чем сам дед: лукавые и спокойные, как-то так, они, в то же время, были пристальными, как у глухонемого. Много молчали эти глаза. Часто молчали. О чём?

На заре советской власти, в двадцатые годы прошлого века (уже надо писать — ПРОШЛОГО!) он был одним из организаторов ТОЗа в селе Трёхсельском. ТОЗы — предтеча колхозов, добровольные объединения, товарищества по обработке земли. До революции семнадцатого года в России было несметное количество разных «товариществ» — акционерных обществ.

Крестьянство в России никогда не было глупым, а потому давно поняло пользу от объединения усилий в земледельческом труде. И как только закончилась гражданская война, ещё до призыва Н. Бухарина к крестьянству «обогащаться, не боясь никаких репрессий», зашевелились мужики в Трёхсельском, объединили физические и финансовые усилия в создании товарищества. Упорный трудолюб Аким Кендюх оказался в числе организаторов. И, наверное, дела пошли хорошо, иначе бы не предали ТОЗы анафеме, а их членов не раскулачили. И замолчал дед. Тем более, что последующая жизнь упорно, кривоно, пропагандировала постулат: «Не рыпаться!».

Бабушка Ефросинья казалась высокой по сравнению с дедом, была темноволосой, иконоликой, похожей на Владимирскую Богоматерь. Всегда в беленькой косынке, подвязанной под подбородком, в длинной юбке и фартуке, она излучала доброжелательность и расположение к себе. В маленькой комнатке, где они жили с дедом, было пару икон с лампадой. При всей своей религиозности бабушка Ефросинья не была фанатичной: внуков в веру не загоняла, агрессивности к нашей пионерской жизни не проявляла, жила тихо и покойно.

На бабушку были похожи тётя Оля и моя мама, на дедушку — дядя Ваня, дядя Гриша и тётя Женя.

Тётя Женя была удивительно красива — женский вариант деда Акима; невысокая, гармонично сложенная, с мелкими чертами лица («дрóбненькая» — говорила мать), с пронзительными голубыми глазами. Как-то не складывалась её жизнь, не знаю почему. Старший сын её Толик, светлорусый, с большими голубыми глазами, широкой кости ни на кого из рода Кендюхов не был похож. И от кого он родился в 1938 году — не знаю. ВАник (Иван), второй сын, тоже светлорусый, голубоглазый, но в отличие от брата — высокий и флегматичный, родился в 1942 году... от немца. Были такие тёмные слухи. От какого «немца», если немцы появились в Армавире только осенью сорок второго — непонятно.

(Потом я узнал, что был обрусевший немец Шмидт, и была за ним замужем тётя Женя. Но с началом войны — немца как ветром сдуло. По иронии судьбы улица в шаге от хаты деда носит имя Шмидта)

А вот Вера, младшая из троих детей, родилась в 1947 году от белоруса Фёдора Голеницкого. И дети тёти Жени приняли фамилию — Голеницкие. И прожила тётя Женя с Фёдором Голеницким до скончания дней своих. А Вера, любимая дочь

дяди Феди, вышла копией и продолжением мамы с «голециким» акцентом.

Дядя Гриша, Григорий Акимович Кэндюх, наверное, самый яркий из «кендюшат». Громадный, не большой, а именно — громадный. На крепкой шее — красивая голова с выючимися волосами; голубоглазый шатен, улыбчивый, лёгкий характером, бесшабашный. Вечный жених и бабник. Имея двух детей, рождённых ещё до войны, после войны разошёлся с женой.

Песен дядя Гриша знал множество и за столом был первым солистом и запевалой. Всю жизнь, до самой своей нелепой смерти, проработал кузнецом.

Вспоминая о своём детстве, моя мама чаще всего рассказывала о дяде Грише. «Едим мы из одной чашки молоко с покрошенным в него хлебом, рассказывала мать. — Ложками хлебаем. Мне кажется, что Гришка чаще машет ложкой, обгоняет меня.

Реже, говорю ему я, не торопись. А он мне: а ты, Наташка, ложкой свою долю держи. Я и держала. Две ложки досталось. Разревелась».

В другой раз они спорят до Наташкиных слёз по поводу падающих снежинок: «Белые комары!», «Нет, белые мухи!». «Нет, белые комары!». «Белые мухи!». Наташка снова ревела: не могла переспорить и перекричать Гришку.

Похоже, он никогда не плакал в детстве. Даже когда он единственные штаны превратил в трусы и получил за это сполна.

Увидев летом на реке городских парней в трусах, Гришка, присмотревшись к трусам, понял: трусы — это короткие штаны, только без ширинки. Тут же на Урупе, взяв два булыжника, Гришка ушёл в кусты, снял штаны и принялся портняжить: положив брюки на один булыжник, другим стал молотить по штанине, отсекая ненужную нижнюю часть.

Домой он пришёл «моднячий», гордый в «крутых» шортах...

...В Армавире дядя Гриша с дедушкой жили в одном квартале, но на разных улицах. Огороды их, за хатами, стыковались перпендикулярно друг к другу, а потому в гости или по необходимости ходили огородами, а не по улице.

До сих пор помню: дедушка жил по улице Туапсинской, 52.

А мы с матерью, после 2-го участка и хутора Красина, поселились в противоположной, южной части Армавира.

Река былого и забвенья,
Ты суть не прячь в седых веках!
Пускай проступит ход движенья,
Как мысли ход в черновиках;

Не надо белого теченья,
Не надо фильтров и табу:
Есть жизнь и смерть,
и возрожденье,
И личность есть,
и есть табун.

Идеи зреют в залах тронных,
Но знаю на сто лет вперёд:
Лишь та эпоха полнокровна,
Где
жертвует
собой народ.

Окраина

Школа была одноэтажной, П-образной. Палочки буквы «П» выходили на дорогу. Перекладина буквы «П», тыл, была частью перекладки другой, большой буквы «П». По периметру этой большой буквы располагались, жилые помещения, какие-то мастерские, небольшая конюшня и весовая. Разомкнутое пространство буквы «П» выходило в поле. Поле поднималось к горизонту. Именно «поднималось», потому что находилось на западном склоне громадной долины, по которой неслась своенравная Кубань. Правый берег Кубани пологий, несмотря на то, что эту сторону долины образует Ставропольское плато. Зато левый — высокий, в кручах. И с этого высокого берега начинается Армавир и полого уходит на запад, в степи.

Так вот: школа стояла на южной окраине Армавира. На запад от неё — поле, на юге, в двух километрах — Пороховой лес и Уруп, на востоке, в полукилометре — мясокомбинат, за ним — железная дорога, «нахаловка» и слияние Урупа с Кубанью. На север от школы, в ста метрах — улица Беконная, а за нею «инвалидовка» до самого города.

Здесь на окраине, даже дальше окраины, как-то локально, в 1945 г. находилась школа № 3. В школе № 3 работала мама. Уборщицей.

Брата Николая в это время не помню. Могу только предположить, что он был сначала в больнице, а потом у бабушки. И где-то там, в районе «второго» Армавира (вокзал «Армавир-2») ходил в школу: школа № 3, простите за тавтологию, сначала была начальной; уж потом, когда восстановили 4-этажную на улице Луначарского, школа № 3 стала средней и сменила адрес.

У старшего брата была какая-то болезнь горла, болезнь настолько серьёзная, что пришлось делать операцию. Оперировали гортань и мать боялась, что останется щель, дыра; что она не затянется и Коля не сможет произносить звуки, что останется на всю жизнь уродом и несчастным. Слава Богу, Коле повезло: щель затянулась, заросла. Став взрослым, Николай обрёл сильный красивый баритон.

Была счастлива и мать: беда могла стать спутницей Николая на всю жизнь, но не удержалась, миновала.

И выхаживала брата, по всей вероятности, бабушка Ефросинья. (Других бабушек у нас, её внуков, просто не было, а поэтому мы все звали её без имени — Бабушка. Или это было её именем. А у деда — Дедушка.)

А где мы с матерью жили в 45-м, я и не помню. Жилище, явное, запомнившееся мне, появилось в 1946 году. Это был домик, который стоял впереди весовой, ну, совсем уж в поле. Ни рядом, ни вокруг никаких строений не было.

Сейчас этот домик стоит на улице Чернышевского. Номер 1. С него начинается улица. (Или начиналась?)

Без Кубани столицы нету,
Как начала нет без конца.
Без окраины нет ответа:
Где начало всего венца?

И пусть всей окраинной рвани
Как мочалу быть на колу —
Начинается всё с окраин
Внепокор царю и столу.

И страна беременна смутой;
В ней опасны святость и грех.
Полыхают зарницы утром
Грозных, кромешных утех.

На краю — значит больше воли.
На краю — значит дальше власть.
Если выпала эта доля,
Дай же, доля, мне не пропасть.

Отчим

Мать рассказывала: «Какой-то он был — оторви да брось. То на крышу залезет, то на чердак. А то: идут уроки, а он в окна заглядывает. А одет — качает головой — ни во что». «Это как?» «А так: бедно. (Себя она не считала бедной! Возможно, не находила определения неухоженности Толика). В трусах мамкиных». (Я помню эти знаменитые труселя-панталоны. Мы жили уже вместе, я ходил в первый класс, и Толик действительно рассекал в подобных панталонах. Но было это в 1947 году. Может, мать перепутала даты?) Жалко его было очень. Говорили: «Отец у него — начальник пожарной охраны. А матери — нет». Я его подкармливала; хоть и сын начальника, а жалко».

Отцом этого сорванца был Фёдор Иванович Котляров.

Расказаченный казак, он всю жизнь гордился своей принадлежностью к этому сословию; воодушевлялся, глаза загорались, когда рассказывал о рубке лозы, джигитовке. И, разумеется, во время войны попал в кавалерию. Но не в армию Доватора, а... в Иран. Стоял там наш кавалерийский резерв, всю войну стоял. И получилось так, что не воевал сорокалетний казак, но печали по этому поводу не было. А кто бы не радовался: жив остался. Послали бы на передовую — куда бы делся, пошёл.

Через годы могу сказать честно: я благодарен судьбе за то, что сохранила в войне и подарила мне этого отца: по-крестьянски спокойного и трудолюбивого, инстинктивно верного семье и своему назначению. Да, он был неумеха, не говорун, не остролов — недалёкий человек. Но он был надёжен и непостижимо осторожен. Фёдор Иванович никогда не был агрессивен и не требовал уважения к себе; не стучал кулаком по столешнице, не брызгал слюной — вообще не кричал. Если накалялся, то замолкал и начинал что-нибудь делать.

Низкий поклон ему и памяти его.

После войны, немного задержавшись в Ленинанке (Армения), появился в Армавире. Здесь были большинство из его братьев, прошедших войну, а до войны, как и он сам, поработавших на шахтах Донбасса. (Меня поражало количество братьев у

Фёдора Ивановича: шесть — живых! Иосиф — дядь Ёся, дядь Саня, дядь Жора и сам Фёдор Иванович жили в Армавире, старший — Филипп Иванович, майор — жил в Сталинграде, самый младший из них, дядь Коля, отбывал своё в кемеровских лагерях. Шесть мужиков! Живых! Удивительно!)

...Появился Фёдор Иванович Котляров в Армавире с сыном Анатолием, отроком девяти лет. Старшая дочь, Тамара, 18 лет, уже по всей вероятности, жила и работала в Армавире под опекой дядьёв и тёток.

Без жены.

Жена Фёдора Ивановича, Мария, отбывала наказание на принудительных работах (принудработы) за воровство на производстве. Почему Фёдор Иванович бросил её — не знаю. Но сладко ему не жилось.

И в 1946 году он «сходится» (так говорили раньше) с моей матерью — Натальей Акимовной Мишутиной. У него двое детей, и нас у матери двое. Вроде бы равноценно. Но по послевоенным понятиям — повезло матери: матери — 33, двое детей, а вокруг столько молодых вдов, не столь обременённых детьми; да и молодых девок сколько за войну выпростало, а мужики в цене, фронтовики — тем более.

...И поселились мы на Чернышевского, номер один.

На горячем, словно степь, поле жизни,
В суховейные бредовые года
Закружила, уронила, положила
Двух родителей безлика беда.

И остались: казачонок — без мамки,
Пацанёнок — без отца, без мужика...
И впрягаются в натруженные лямки
Плечи матери и плечи казака.

Как от губельной чумы и от мора,
Прививали нам родители жизнь;
Мы купались в волнах Чёрного моря
И учились этой жизнью дорожить.

Мы как веточки привитые к чужому,
(Где привой тут, где подвой — всё равно)
Разрослись у армавирского дома,
И корнями вошли в землю давно.

Зеленеет уже целая роща:
Пять девчонок и крепкий внучок.
Уже пробует садиться на лошадь
Непривитый Ашот-казачок.

Пропавший без вести

А как же-отец? Родной, Андрей Дмитриевич Мишутин?
Он-то куда подевался?

Неизвестно.

Мать ждала его до 1946 года, почти семь лет. И семь лет — ни ответа, ни привета, ни весточки, ни посылочки-пересылочки. Пропал. Да и немудрено в такую годину. Что там песчинка-человек, когда земля дышит и ходит под ногами...

Куражливый сквозной ветер гоняет колючие метели по зимним степям России; споткнётся о тамбовские леса и давай вихриться и буяннить в саратовском Поволжье. Лихо, зло и долго. Теряя силу, застаивается здесь, сея будущую печаль и бескормицу.

А летом на саратовщине — линиялые степи и марево.

Не однажды, проезжая Саратов или около, замечал это.

Знакомый режиссёр говорил о Поволжье: «Саратов — это вечный голод и недород».

И вот здесь, в этих местах, в страшно голодном 1921 году и нашли солдаты Дзержинского беспризорника Андрея — моего будущего отца. Как там послучалось — не знаю, но приютила его и дала свою фамилию бабка Мишутиха, известная в округе собирательница трав и лекарка.

В год «великого перелома» Андрей Мишутин уже был под Мариуполем. Всю энергию неистраченного комсомольца направил на активную помощь в создании и укреплении колхозов. И там же под Мариуполем, находилось и семейство Кендюхов: после разгрома ТОЗов и раскулачивания подались на Украину — от греха и горя подальше.

Наташа Кендюх работала дояркой в колхозе, а Андрей Мишутин активно бригадирствовал. В 1932 году бригадир взял доярочку Наташу силой. Мать никогда не говорила об этом и только за пару месяцев до кончины призналась.

Горько. Но так было.

А дальше пошла семейная жизнь. В августе 1933г родился мой брат Николай. К 1938 году семья и Кендюхи вернулись на Кубань. Мать так и работала дояркой, а отец... А отец

стал то ли председателем сельпо, то ли заведующим сельским магазином. Опасная должность: соблазнами, недостатками, друзьями. Мать говорила, что отец был порядочен (в торговле), но доверчив. Отпускал товары «под запись», деньги сужал на время. И его никогда не подводили.

А осенью 1939 года — подвели.

Нагрязнула ревизия с проверкой дел в Сельпо. Андрей Дмитриевич — к должникам по списку. Какую-то сумму вернул, но недостачу покрыть не смог.

Был суд. Дали ему несколько лет принудительных работ («химию» по-советски, работа на стройках народного хозяйства) и отослали в Западную Белоруссию, только что присоединённую к СССР.

А мать — беременна мною.

На радостях, в шестилетие брата Николая, спроектировали родители меня. Ещё до ревизии.

А через год после моего рождения началась война и от отца перестали приходить письма.

И более 20 лет ни слуху, ни духу. На все мои запросы в различные архивы и инстанции был ответ: «без вести пропал», «данных не имеется». И только в 1963 году появилась информация об отце. Самым неожиданным образом.

Были ноябрьские праздники. Я только что вернулся из армии. За столом вся семья: братья с жёнами, мать, отчим. Вышли мы с Николаем, старшим братом, во двор покурить. И тут он рассказал.

Оказывается, он тоже, независимо от меня, занимался поисками отца. И судьба его свела с одним из работников Армавирского военкомата, который и рассказал об отце.

...Были первые дни войны. Всё, что можно было эвакуировать, грузилось в эшелоны и отправлялось на восток. Что нельзя было — взрывали. Эшелон с заключёнными тоже нельзя было взорвать: гнали рабсилу в глубину России. Во время налётов — все заключённые, по команде, высыпали из вагонов и залегали в кустах и траве. (Странно, но после налётов все возвращались, кто, естественно, мог.) Рассказчик был тогда охранником, энкаведешником. С его слов получалось, что он хорошо знал отца: называл его по имени, общался.

В очередной налёт все снова позалегли вдоль насыпи. Налёт прошёл и охранник увидел отца, перевязывающего у берёзы кого-то из раненых. Но самолёты пошли на второй заход. И бомба ли, снаряд ли угодила именно в то место, где и был

отец с раненым. И был взрыв. И ничего на этом месте не стало. Только воронка.

Это было под Барановичами в конце июня 1941 года.

Впереди была ещё вся война.

А отца уже не стало. Отца, которого я никогда не видел.

Мне было — год и один месяц.

Факт о том, что в ликующем мае

Появился на белый я свет,

Отразил на казённой бумаге

И заверил его сельсовет.

А в Барановичах через лето,

В сорок первом убеглом году,

Разбомбило войною ответы:

Где отец и попал как в беду?

Я распят между этими пунктами,

Как спаситель наш роковой:

Там — Барановичи на беспутии,

Здесь — Барановка, сороковой.

Я стремить за эпоху Путина,

Длить пространство меж этих дат —

От отца Андрея Мишутина

И до сына Андрея — рад.

Домик на окраине

Это был даже не домик, а сторожка, хата — с маленьким коридорчиком и одной комнатой. Ни кола, ни двора — никакой загородки вокруг, ни маломальского огорода: пустырь, а дальше — поля. В восьмидесятые годы прошлого века она ещё стояла в хилом одиночестве, а к ней, со стороны улицы Лавриненко (бывшая Беконная) тянулись частные дома и домишки. В начале 90-х она уже определяла начало улицы Чернышевского под номером один. В начале же XXI века её уже не было: девятиэтажки разбрелись по территории бывшей школы, мастерских, весовой и нашего домика. И воображение бессильно восстановить географию прошлого, растворилось всё бесследно. И только мощная грива колючей акации (гледичии) метров в тридцать прорастает из былого; она так же растёт через дорогу от территории бывшей школы № 3 (здесь сейчас — супермаркет и жилая девятиэтажка) и тянется в сторону Порохового леса (или лесничества?).

В начале лета 1946 года Фёдору Ивановичу выделили этот домик на окраине в качестве временного жилья. Мы с матерью, естественно, тоже перебрались туда.

В честь новоселия и соединения судеб отец добыл где-то четверть мутной, как ополоски, браги. (Четверть — по форме бутылка, только большая, в три литра. Я долго не понимал, почему эта огромная бутылка называлась четвертью, частью чего-то. И только намного позднее узнал, что четверть — четвёртая часть двенадцатилитрового ведра).

Почему-то это происходило в коридорчике — маленьком, тесном, тёмном: без окон. В распахнутую на улицу дверь видна была весовая с проезжавшими через неё машинами; дальше — мастерские в тылу у школы, крыша школы; над крышей — густая, тёмная зелень колючей акации; а над всем этим — громадная труба котельной мясокомбината.

Май не заладился с дождями, лето началось зноем, маревом. Знаменитый ветрами Армавир замер в безветрии и духоте.

Отец поставил два гранёных стакана на грубый стол в коридоре, взял за горлышко четверть. Одной рукой, не подерживая дна бутылки, стал наполнять стакан, чем вызвал моё восхищение. Бутылка тяжёлая, а он, вот так, одной рукой, как из пузырька наливает!

И вдруг бутылка неожиданно звонко тренькнула, глухо рухнула на деревянный пол и разлетелась острыми осколками. Горлышко четверти осталось в руке Фёдора Ивановича. Отец с матерью стояли обрызганные пахучей брагой и молчали.

Судьба? Не судьба?

Война была позади, а впереди — жизнь.

Жара и зной...

Прохлада, холод

Ушли из дней в небытие.

Знобит бедой и брезжит голод.

Народ и скот осатанел.

Россия замерла в преддверьи

Под мёртвым маревом жары:

Зазеленели суеверья

Военной, прожитой поры.

Палящий зной 46-го

Посеял голод и беду.

Вибрирует озлевающий овод.

Земля рождает лебеду...

Побег

Не знаю почему, но всё вокруг запомнилось полинялым, блёклым, белёсым: и небо, и пространство вокруг, и чахлый терновник в балочках. Лето было жарким, знойным, сухим. Полевой стан представлял собой две землянки (жильё!), колодезный журавель и возле колодца громадный чан, наполненный водой. А вокруг — в любую сторону до горизонта — пусто. Ничего. Кроме упомянутого терновника.

По всей вероятности полевой стан был местом обитания бригады людей, занятых обслуживанием большого стада бурёнок на летнем выпасе. И была, наверное, какая-то — как бы сказали сегодня — инфраструктура: баз (огороженное место загона скота), бочки для молока, телеги, доёнки (ведра для сдаивания молока). В землянках жили, хранили продукты. И всё это хозяйство называлось почему-то полигоном.

Смутно помнится, мать рассказывала: «Перед войной на полигоне проходили стрельбы. И одна шальная пуля попала мне вот сюда (показывала на бедро). Так приезжали военные, извинялись». — «А пуля?» — «А пулю вытащили». Может, и было это место тем самым полигоном, пуля с которого ранила мою мать. Может, тот, а может другой. Но — полигон.

Летом 1946 года моя жизнь круто изменилась: я обрёл отца, Фёдора Ивановича, и ещё одного брата, Анатолия, на три года старше меня. Переменилась жизнь и у отца с матерью: отец оставил пожарную команду, а мать — школу. Мать, по довоенным навыкам и привычке, снова стала дояркой. Может, ещё какие житейские мотивы были — не знаю. Но факт: лето сорок шестого — мы на полигоне.

Взрослых никого нет. Нас только трое: я, Толик и какая-то девочка такого же возраста, или чуть старше. Да, и ещё — несколько свиней — чушек. Они обитали вольно, не взаперти: бродили по территории стана, чесались об ограду база или умиротворённо валялись в горячей луже, похрюкивая от удовольствия. Взрослые нам никакого задания не давали, кроме одного: не забывать держать закрытыми двери в землянки. «Не дай бог свињи заберутся в землянку и

съедят хлеб», — наставляли нас. А хлеб привозили только раз в неделю.

Во что мы, дети, играли — не помню. Но заигрались так, что прозевали свинское вторжение в землянки. Мало того: мы не видели, как они и ушли оттуда. И случилось то, что не должно было случиться ни при каких обстоятельствах: в землянках был полный разгром, как фашист прошёл. Всё было перевернуто, разбито, растоптано. Хлеб — самое важное — частично съеден, а остальной затоптан, пережамкан — стал несъедобен. Мы знали, что свиней здесь держали на дармовых кормах для заклания ближе к зиме. А нам теперь до зимы не дожить: преступление мы совершили и расплата неминуема. Сегодня же, а не зимой. До этого дня я не помню такого, чтобы родители нас физически наказывали, били. Но теперь, мы были уверены, кара будет, и будет жестокой, физической, хотя и справедливой. И нам стало страшно. И избежать наказания был только один путь: побег в Армавир, домой. Мы не знали, что до Армавира 18 км, мы не знали дороги, но были уверены, что дойдём. Тем более что от полигона вела только одна дорога, пыльная, ровная, наезженная десятками бричек.

На полигоне мы оставили девочку. Она проводила нас «за околицу», помахала рукой, и мы отправились. Босые, в майках и трусах.

Мы шли быстро, время от времени оглядываясь на покинутый полигон. А когда он стал слабо различим, размытый знойным маревом, показались собаки. Ниоткуда. Они бежали вдоль дороги следом за нами. Их было штук пять или шесть. Собаки догнали нас и трусили рядом, угнув головы, одна за одной, гуськом.

— Хорошие собачки, — сказал я, — красивые.

Толик шёл молча.

— Давай возьмём их с собою, домой, они охранять нас будут.

— Нельзя, они дикие, — ответил Толик.

Собаки ещё какое-то время бежали рядом с нами, затем ушли вперёд и скрылись в терновнике.

Мы знали серого волка по сказкам и никогда не видели воочию. Поэтому и приняли стаю волков за бродячих собак. Уже потом, после, когда мы рассказали родителям, что нам было не страшно, потому что нас сопровождали собачки.

— Собачки?

— Да, дикие, — ответил Толик.

— Все серые, одинакового роста, красивые, — добавил я. Отец с матерью переглянулись. Отец крикнул, а мать побледнела.

— Это были волки, — сказала она. — Больше не убегайте и не ходите без взрослых, а то вас волки съедят.

Почему нас волки не тронули во время побега — не знаю. Может, сытыми были.

...Путь до Армавира не закончился одним приключением с волками. Где-то на середине пути Толик наступил на шип колючей акации (гледичии). Колючки эти длинные (10—15 см), острые, твёрдые. Ногу и насквозь прошить может. Брат наступил на колючку пяткой, загнал глубоко, но, слава богу, колючка не сломалась. Мы её выдернули, засыпали ранку пылью, чтобы остановить кровь, посидели. Мы уже устали, ослабли психически, а потому ссорились.

— Пойдём через мост?

— Нет, — сказал Толик, — через Уруп.

— Я не умею плавать, — заволновался я.

— Я тоже, — ответил Толик. — Мы пойдём через перекат.

Я согласился. Если идти через мост, то надо делать большой крюк (наверное, километров пять). Идти «кругалё» уставшим не хотелось. А так — через Уруп, «пороховой» лес, и — дома.

Но переката мы не нашли. Толик несколько раз посылал меня на разведку вброд:

— Мне нельзя: у меня рана, — говорил он.

Оскальзываясь и падая, я заходил в стремительное течение Урупа по пояс и со страхом и радостью возвращался на берег.

Третий раз я в разведку идти отказался.

— Трус, — сделал вывод мой новый брат.

— Да, — согласился я.

Измотанным и голодным нам пришлось идти «кругалё», через мост. К дому мы подошли в сумерки. В нашем домике на окраине, за весовой, оставалась Тамара, старшая сестра Толика. Когда мы подошли, окно светило от огня лампы, и мы убоялись заходить: а вдруг отец уже здесь, прискакал на лошади? Лошади видно не было, но мы всё равно боялись. Поэтому мы забрались под люк технологического колодца недалеко от домика, посидели там, пока голод не сломил нас окончательно, и отправились на расправу, как нам казалось. Тамаре мы дружно рассказали, как отец довёз нас до города

и вернулся. А Тамара всё удивлялась: что же отец домой не заехал?

Двое мальчиков убегали,
Их собаки сопровождали:
Пробежали гуськом, цепочкой,
Угнув головы, по лесочку.
Ах, как мальчики были рады,
Что собачки бежали рядом:
Темно-серые, равноростые,
Не собачки, а радость просто!
Эти мальчики шестилетние —
В плену страха, своей вины...
...Было лето послевоенное.
Волки — сыты после войны.

Среда обитания

Наша семья к зиме успела переехать жить из домика у вешовой на «инвалидовке», в хату на углу улицы Октябрьской и 15 линии — на «нахаловке». Не знаю, почему юго-западная часть Армавира называлась «инвалидовкой», а вот почему юго-восточная часть носила хулиганскую кликуху «нахаловка» — знаю, слышал от взрослых.

Когда-то городская черта была по улице Пугачёва. А так как на хлебную Кубань время от времени происходила интервенция голодающей России, то горсовет запретил строительство жилья на юг от улицы Пугачёва. Но! Был нюанс. Если нахалы — «захватчики» в течение одной ночи возводили очаг с трубой, т. е. печь, то его уже не разрушали. А это означало, что можно было жить и постепенно расширять строительство. Глухо протестуя, горсовет даже названия переулкам не давал, а так: «1 линия», «2», «3» и т. д. Экспансия «захватчиков» докатилась до крутого обрыва к ложу Урупа и закончилась 21-й линией. Народ на «нахаловке» селился лихой, отчаянный, а ко времени нашего переселения на 15 линию лихости у поселенцев поубавилось, но остался характер: хитрый, вороватый, наглый.

Зима в 46-м пришла на Кубань небывалая: снега глубокие, чистые с синевой, как подсиненные простыни. И хрустели крахмально. Между хатами не тропинки утопанные — а траншеи снежные. От белизны — ломота в глазах и радость. Небывалая летняя засуха извинилась снежной зимой.

Но чего стоили эти поздние извинения, если хлебá и корма выгорели, а огороды изжаждав влаги, обесплодели?

Не помню деталей и последовательности, не понимаю, как в короткий срок это могло произойти, но в течение полугода мы сменили два места жительства: из домика на окраине у вешовой мы переселились на угол Октябрьской и 15-й линии, а оттуда на улицу Ленина в хату под номером 371. Переселились надолго: там прошло моё остаточное детство и все годы отрочества — до самого 1953 года.

Итак, зима 1946 года. Таких снегов и такой зимы я не видел потом ещё 20 лет. В 1966 году, переезжая жить в Челябинск, я заехал к своему другу, жившему в деревне Тургояк. Белизна снегов слепила. Снега, по-деревенски, были глубокими и чистыми. И не было холодно! И это удивительно. Так было и в 1946 г. Только цвет снега был холодным, а я — маленьким.

А вот 47-й год... Надо было бы написать: «А 47-й!» — именно с восклицательным знаком. Событийный. Переломный. Эмоционально насыщенный. Память ломится от фактов, как прилавок от товаров.

Зима ушла, не знаю как. Наверное, была вытеснена бурной весной ещё в конце февраля: на Кубани это нормально. Не помню. Но лебеда вдоль Вонючки стояла мощная и сочная. Вонючка — искусственная река — ручей: слив отходов из боен мясокомбината. В 1946 году комбинат приступил к обработке животного материала и выпуску колбасной и мясоконсервной продукции. На открытие приезжал сам «всесоюзный староста» — «дедушка Калинин». Предприятие постепенно становилось многопрофильным и, возможно, безотходным. Кроме разнообразной мясной продукции выпускал костную муку, костяные гребешки и пуговицы. Горы брака (пуговицы одно — и двухдырные, а то и совсем «слепые», несуразные гребни и гребешки) росли на территории комбината и около. На 19 линии, недалеко от нас, жил и специалист по обработке костей: Толя — гребешечник : двухметрового роста, худой, костлявый, улыбочивый — сам как расчёска. Его жена Шура́ня, женщина яркая, плотная, с чёрными бровями и зелёными глазами говорила: «Мои глаза модные. В Ленинграде за этот цвет глаз стреляются». Значит семья Толи-гребешечника тоже пришедшая, не с Кубани, как и многие на «нахаловке».

При забое скота — много крови. При разделке туш — тоже. Водой из шлангов кровь и мясная мелочь из боен смывалась в водостоки, трубы и выводилась за пределы мясокомбината.

И там, по предназначенному руслу, текла бурая жижа до самого впадения в Уруп. Запах от этой речки-кровянки был специфический, а потому название она получила — Вонючка. Путь у Вонючки был длинным: вдоль железнодорожного полотна в направлении Баку почти до самого Урупа, резко поворачивала влево и, повторяя контуры древнего русла Урупа, вдоль высоких круч, между окраиной «нахаловки» и «нечаевскими огородами» текла почти до самого впадения Урупа в Кубань — до гончарки. (На месте гончарки в шестидесятые годы вырос трубо-керамический завод, от которого к концу 90-х остались битые черепки.)

Начинаясь бурным потоком — ручейком, Вонючка постепенно замедляла свой ход, подпитываясь ручьями и ключами, и при впадении в Уруп уже была речушкой 8—10 метров в ширину, спокойной и даже прозрачной. Получалось так, что Вонючка охватывала южную окраину «нахаловки» полукольцом: истоки её находились напротив 15 линии на западе «нахаловки», а устье — напротив 18 линии с восточной стороны.

Так вот: весной и летом 1947 года лебеда по берегам Вонючки стояла мощная и сочная. Молодые стебли ломали и варили. Вонючка подкармливала людей в 47-м не только лебедой. Люди с сачками из проволоки и марли стояли вдоль русла речки-кормилицы по обоим берегам. Дежурили постоянно. А в дни забоев скота особенно много было народу. Вылавливали кусочки мяса, жира, отходы ливера и кишок. Места поближе к истоку были наиболее «хлебными», а потому возникали ссоры и даже драки. Выловленный махán (так называли выловленные в Вонючке отходы) мыли, обрабатывали, варили, ели.

Спасибо этому кровавому ручью: многим он помог в 1947-м.

Ну и зима! Снега по пояс!
«Нахаловку» по окна занесло!
Понятно стало всем, что будет колос.
И снова выживем, как выжили назло.

До будущего хлеба, как до жизни:
Все девять месяцев мороки и борьбы.
А сытой жизни только крохи, брызги;
Лопатки — словно крылья и горбы.

Прошли снега, но смертью моросило
До осени в 47-ом году...
А что же ела, господа, Россия,
Если Кубань варила лебеду?

Хлеб

Выживала «нахаловка» в 47-м как могла: при помощи лебеды, Вонючки, воровства и взаимопомощи. А вот хлеб получала по карточкам. Выдавали его в строении, где под одной крышей были: клуб мясокомбината, столовая и магазин. Это здание до сих пор стоит не перестроенным, модернизация его не тронула.

(В 2007 году, будучи летом в отпуске в Армавире, я зашёл в зал клуба мясокомбината. Две девушки за столом что-то оживлённо обсуждали: видно готовились к мероприятию. «Здравствуйте, — сказал я. — Я здесь был на ёлке в 1947 году». «Ну и что, — сказали они. — Покиньте помещение».)

...Очередь за хлебом занимали, наверное, с вечера, потому что к шести утра, когда начинало говорить радио, и с «колокольчика» на тополе раздавались позывные Москвы, народу перед входом в магазин было несколько сотен. И помнятся почему-то только солнечные утра. Солнце, свежо, ни ветерка. Птицы песнями перекликаются, воробьи гомонят. Пирамидальные тополя молодыми свечками взмывают в синее небо. И вдруг из ниоткуда, с высоты — волшебство музыкальных позывных. Галдящая толпа затихала: «Говорит Москва». Люди слушали, говорили вполголоса.

Внимание к радио было поразительным. Неугомонных мальчишек останавливали, а то и давали подзатыльника. Слушали. Напряженно. То ли с войны осталась эта привычка, то ли надежды оставались неисполненными. Чего-то ждали. Может быть, отмены карточек.

В определенное время открывалось маленькое окошечко (примерно такое по величине, какие сегодня мы видим в уличных ларёчках и киосках). Это окошечко было единственным на всю торцевую стену. К нему вели две высокие каменные ступеньки. Площадка перед окошечком была примерно метр на метр и без перил. На этом квадратном метре много людей не могло поместиться. От силы три человека. Но чаще — два: очередник и Мыкыртыч. Остальная очередь внизу. Мыкыртыч — громадный армянин. Лет пятидесяти, с крупным блестя-

щим лицом. Не знаю почему, но лицо его всегда блестело (или лоснилось?), но это не было потом или жиром, казалось, что на остов его лица туго натянули кожу, и потому она казалась тонкой и блестящей.

Мыкыртыч был наблюдателем. Он наблюдал за порядком в очереди. И все знали: когда наблюдает Мыкыртыч — никто без очереди не влезет: ни шпана, ни блатняк, ни халда какая-нибудь. Мыкыртыч легко и без жалости брал нахала за грудки или под мышки и бросал в натопанную пыль. Очередь почти-точно гудела. Ему хотелось подражать: он был силен, смел и справедлив. Думаю, вот кто был бы героем восьмидесятых. Во времена антиалкогольной шизофрении и алкогольных бунтов.

Наконец, подошла моя (или наша: мы часто занимали очередь группой пацанов) очередь. Мое лицо замирало, как раз против окошечка и во мне срабатывал рефлекс собаки Павлова. Я глотал слюну и отдавал продавцу карточки. Только на сегодня и только на хлеб. Не дай Бог потерять все, а не четыре. Ведь могут вытащить, отнять, и Мыкыртыч тут тебе не защитник. Хлебный дух был плотным, почти осязаемым. Он усиливался оттого, что хлеб резали: продавали и подавали на вес. Кому выходило полбулки хлеба, кому — булка, да еще довесок. Если продавщица была неопытной, новенькой или торопилась, то довесков могло быть несколько. И это было здорово: для семьи это была «неучтёнка», а значит доставалась мне как гонорар.

Я внимательно смотрел не на чашки весов, в которых были гирьки и хлеб, а на «клювы птичек». Дело в том, что от чашек весов (от каждой) ближе к вертикальной оси уходили верх две миниатюрные кочерги, развернутые носами друг к другу. Носы были плоскими, похожие на утиные клювы. А угол, образованный носиком и ручкой кочерги, отдаленно напоминал птичью головку. Чашки весов то опускались, то поднимались и «клювы», едва не касаясь друг друга, ходили вверх-вниз: точь-в-точь, как утиные головки при кряканьи. Как только «клювы» успокаивались на одной горизонтальной линии напротив друг друга — отвешиванье заканчивалось: масса хлеба была равна массе гирек.

Процесс был завораживающим, магнетическим. Меня раздирали противоречивые желания: чтобы этот процесс скорее закончился, и тогда можно будет съесть довесок, и продолжался бесконечно — тогда много будет довесков.

Иногда в процесс вмешивался Мыкыртыч: «Пацана не обдирай», — говорил он продавщице. То ли для профилактики, то ли, действительно замечал лукавый палец продавщицы под чашкой с гирьками. «Клювы» ещё раз дёргались вверх-вниз и успокаивались. Значит, не зря вмешивался Мыкыртыч.

Получив хлеб в руки — не в сумку, не в пакет, не в авоську (таковых тогда не было), а именно в руки — я пробирался сквозь толпу на свободное место под тополями. И этот путь был чреватым: в тесноте мог выронить хлеб (было такое), могли выхватить довески (не было такого: я прятал довески под майкой). Могло произойти что-нибудь непредвиденное. И уже на свободном пространстве под тополями было ещё одно испытание: голодные люди.

Они не были нищими (нищих не было нигде!), они были людьми, у которых не было карточек. Не знаю, на что надеялись эти люди в сорок седьмом году, делился ли кто с ними в это голодное лето — не видел. Они были тихими и робкими: виноватыми, что ли.

Изо всех голодных запомнил одну старуху: седая, согбенная, кривоногая она обеими руками опиралась на клюку и смотрела как бы снизу. Кончик горбатого носа почти касался подбородка, а полинялые голубые глаза смотрели безнадежно и обречённо. Длинная юбка и кофточка на ней тоже были старыми и полинялыми. Старуха была похожа на уставшую бабу-ягу. Пройдёт почти два десятка лет до той поры, когда я узнаю эту старуху, как бабу Дуню Грибцову.

...Баба Дуня была матерью двух детей: Таньки и Шурки (так пренебрежительно называл их отец Фёдор Иванович). Теть Таню я помню хорошо: высокая, невзрачная, костистая; до конца дней своих не была за мужем и не завела детей. А вот Шурку Грибцова (дядьку) видел, по-моему, только раз. У нас дома. За столом.

Как потом я узнал, Котляровы и Грибцовы были казаками одной станицы, Советской. При рассказывании их пути разошлись: Котляровы спрятались в шахтах Донбасса, а Грибцовых след потерялся. Во время войны все Котляровы защищали себя и Родину, а Грибцов Шурка служил полицаем при немцах. После войны всё открылось. Грибцов под расстрел не попал, но отмотал своё в лагерях. Вернулся в Армавир и поселился на окраине, у самого кладбища, на улице с удивительным названием: Красного пахаря.

В конце пятидесятих годов и наша семья купила дом на этой улице, в квартале от Грибцовых, и ненароком мы стали соседями. Что происходило между бывшими станичниками, пока я был в армии — не знаю, но к моему возвращению в 1963 году неприязнь казака Котлярова к полицаяу Грибцову достигла лютости.

И вдруг, в году, примерно, шестьдесят пятом мне говорят домашние: сегодня в гости придет Шурка Грибцов. Вот так! А о нём я уже был наслышан. И вот — застолье. Грибцов выглядел аскетично: лысая, тугая голова, длинное костистое, обтянутое желтоватой кожей лицо с длинным носом, злые глаза. Одет был во что-то полувоенное, чуть ли ни энкавэдэшное. Милицейские «Гали» были точно на нём. И хромовые сапоги.

О чём был разговор — не знаю: «лишних» попросили удалиться. Разговор был «не для прессы». Но после этого дня я больше никогда не видел Грибцова.

А баба Дуня, как ни странно, жила долго. Дочь её Татьяна (тетя Таня) пережила ее ненадолго. А в хате, где она доживала свои дни, сейчас живёт внучка Фёдора Ивановича и моя племянница Ольга Анатольевна Котлярова со своей дочерью Настей.

Вот такая история. Но всё это будет потом.

А сейчас: июнь 1947-го, солнечное утро, галдящая очередь за хлебом и голодные глаза усталой бабы-яги.

47-й — и в хлебные края,
Как в рай небесный, хлынула Россия.
И если не давалась та земля,
Её, надежду, забирали силой.

И ссорилась с пришельцами Кубань.
Но, слабая сама, кормила хлебом.
И общий труд, и общая труба
Завода общего мирили общим небом.

Не перейти беду такую вброд -
И лишь работа до седьмого пота
И на себя, и на семью, и на народ,
На недород 46-го года.

По дороге домой

Прячась за стволами тополей, я наблюдал украдкой за бабой-ягой и дожидался ребят попутчиков, или знакомых взрослых, идущих в ту же сторону: одному пацану ходить с хлебом было все-таки опасно. На этот раз попутчиками были ребята постарше меня с нашей улицы. Понемножечку, по крохе отламывая от довесков или от буханки, мы шлёпали босиком по прохладной, истёртой в пыль и прах тяжёлой дорожной пыли.

Слева от нас тянется длинная стена забора мясокомбината. Забор сложен из кирпича и оштукатурен. Новенький ещё забор; в прошлом году начал работать комбинат. Но кое-где штукатурка уже разрушалась. Мы, мальчишки, произносили не штукатурка, а «щекатурка». И в связи с этим у нас ходила филологическая (или синтаксическая?) загадка. Примерно такая: «У стены стоял бандит. Солдат выстрелил в бандита. Щека турка залилась кровью. Какой национальности был бандит?». Загадка строилась на ложных омонимах. Но нас кубанских саморосов, с чудовищным южным выговором, она ставила в тупик.

Мы приближались к главным воротам комбината, через них въезжали и выезжали полуторки, телеги, брички. Возле ворот часто можно было видеть отары овец и стада скота, пригнанных на забой. Сейчас пространство перед воротами было свободно от скотины. Справа по дороге, чуть впереди и в глубине, стоял длинный барак. В нем жили люди. В пространстве от барака до дороги были засажены маленькие огородики, как перед каждым частным домом на улицах Армавира. За баракком, мы знали, был охраняемый сад.

Слева тянулась нескончаемая, метров на 800, стена, до самого птичника, а справа, после барака и ещё глубже, на возвышении стоял большой сарай. Это был — собачник: в нём содержались собаки. И в этом собачнике сейчас работал мой отец — Федор Иванович Котляров. Он был собачником: разводил собак по своим постам. Вечером разводил на службу «собачек», а утром забирал их с постов. По всему внутреннему периметру стены-забора были вкопаны столбы, между столбами натянута проволока. За проволоку цеплялась цепь с кольцом, в кольце цепи — ошейник, а в ошейнике — «собачка». Каждая «собачка» (так называл их отец) охраняла определённый участок.

Отец в собачнике брал за цепи по 2—3 собаки в каждую руку, и те несли своего каюра к своим рабочим местам. В периметре забора, на фронтальной стене, была проделана пара калиток-входов для собак и Фёдора Ивановича. Через них они и входили на территорию комбината. Это же сколько километров за один вечерний развод собак натаптывал сорокалетний казак Котляров?! Периметр комбината был не меньше 2,5 километров. Рано утром, да вечером ежедневно, без выходных проходил этот путь отец несколько лет подряд. Трудная была должность: чреватая соблазнами и сильными желаниями голодных людей. Помню, отец иногда приносил мясо в кармане, а то прямо на теле, под рубахой. Что это было за мясо? Ливер. Кусок лёгкого, почки или желудка. Но чаще всего — требуху. Не знаю, как было на самом деле, но хочется думать, что это собачки делились со своим разводящим. И в любом случае — это был более качественный продукт, чем из Вонючки. И в любом случае — для чрезвычайно осторожного, почти трусливого, Фёдора Ивановича — это был подвиг ради семьи. Напомню, что его бывшая жена Мария, отбывала своё на принудработках за воровство нескольких колосков. Спасибо, отец. Светлая память тебе.

Мы идём дальше, и справа по дороге наш путь заканчивается свалкой. Той самой, на которой скапливалась бракованная продукция мясокомбината и его боен. Кладезь! Эльдорадо для крыс, собак и голодных. А может, и поле битвы. Поэтому на свалку — в другой раз. Мы поворачиваем налево. Туда же, перпендикулярно, поворачивает и забор комбината. Мы идём между забором и птичником.

Птичник — это небольшая птицефабрика, которая жива, помоему, до сегодняшнего дня. В птичнике интересно только одно: индюки. Какие же они важные! Расфуфыренные до невозможности, как Галка с 20-й линии. Та — такая же, только соплей красных, как у индюка, нет. Отец научил меня здороваться с индюками. Через сетчатый забор они видят нас. Мы шепотом считаем: «Раз, два, три» и дружно кричим: «Здравствуйте, молодцы!» Индюки дружным клёкотом отвечают в 100 децибел: «Клее-клё-клё-клё! А-а-а...». Индюки всегда на любой резкий и громкий звук отвечают клёкотом. Как сигнализация машин реагирует на гром. Мы ещё какое-то время развлекаемся, а затем разворачиваемся к забору мясокомбината.

И вот здесь-то старшие ребята отрываются во всю. Показывают нам мастер-класс. Дело в том, что эта сторона пери-

метра забора — стена гласности. Граффити — здесь вольное и бесцензурное. Здесь есть всё! Старшие отважно до озноба выкрикивают написанную похабщину и истерично смеются. Я краснею, сильно краснею. А уйти нельзя: неправильно поймут, затюкают потом. И я терплю, вымучиваю улыбку. Через несколько лет я уже не буду стесняться этой стены, а творчество любителей гласности станет гуще, но сюжеты не изменятся.

Наконец, мы идём дальше. За нами остаются и стена и птичник. Мы уже шагаем по тропе через небольшое кукурузное поле между птичником и Вонючкой. Кукуруза стоит высокая, в мой рост, толстенькая, сильная. Чья кукуруза? Тех людей, которым дали наделы под огороды. Как в поздние советские времена давали наделы под картошку. На Кубани картошка растёт плохая, да еще и 47 год — поэтому кукуруза: и мука, и крупа, и корм для скота, и топливо. Безотходная агрокультура. Наделы под кукурузу давали не всем, но у нас тоже была посажена кукуруза за свалкой. И это радовало.

Справа, за кукурузными посадками, в полукилометре оставался взорванный мост через Уруп. Мост назывался «Ставропольским». До войны через этот мост шла железная дорога до Ставрополя. Мы перешли поле, подошли к Вонючке, густо заросшей жирной лебедой, по мосткам и камушкам форсировали её, и оказались перед разбитыми вагонами на рельсах. Мы знали: ближе к Урупу стоит мостопоезд. Это большая машина приспособлений и механизмов на колесах. Мостопоезд строил два моста через Уруп: железнодорожный и транспортный. Вот к этим строящимся мостам мы и шли с братом Толиком «кругаля» в прошлом году.

Мы проходим между вагонами через рельсы, спускаемся с насыпи, проходим ещё одни огородики (как перед баракom) и оказываемся на пересечении улиц III интернационала и нашей 19-й линии. Дальше по линии будет улица Буденного, а за нею и моя, Ленина. Всё, я дома. Я отдаю обгрызенную по углам булку хлеба матери. Она заворачивает хлеб в чистую тряпицу, даёт мне указания и уходит на работу. А я остаюсь. Один дома.

Как свечи пламенем зелёным
Вонзились в небо тополя.
Ещё сквозит войной калёной,
Ещё не вызрели поля,

Ещё — по карточкам засушенный.
Ещё не сводятся концы,
Но безысходность — глуше, суше,
Уже смеются пацаны.

И мимо мясокомбината,
Где сильный, сытый дух живёт,
Идут худущие ребята,
Весёлый впроголодь народ.

От солнца все белоголовы,
Да так, что путают отцы;
Из инкубатора какого
Послевоенные птенцы?

А рядом — птичник и цыплята,
А среди них — индюк нелеп.
Не имут ужаса ребята,
Цыплятам скармливая хлеб.

Хозяин

Уже год, как наша семья удвоилась: отец с матерью, старшая девятнадцатилетняя Тамара, четырнадцатилетний Николай, десятилетний Толик и я, младший.

Хорошо помню лето 1947 года. Чаще всего я оставался дома один: отец, мать и Тамара — на работе, Толик — не знаю где, а Николай — у бабушки с бабушкой, на Туапсинской, 52. Детский сад? Об этом и слухом не слыхивали, и видом не видывали, и знать не знали. А поэтому, как ни беспокойно было матери, но семилетнего Шурика приходилось оставлять одного. Возможно, она просила соседей присматривать за хатой и мною, но я этого не чувствовал. Мне давались какие-то наставления. Всех я сейчас не помню, но среди них были и такие: на улицу — ни ногой и калитку никому не открывать. Калитка и ворота оставались на засове («на Засове» — говорил отец) до прихода родителей.

Чем же занимался я на своём посту? Бродил по огороду, щипал зелень и горох, подпыхивался соседской вишней, свисающей к нам через забор, зреющими абрикосами. Приникал к щелям в воротах: наблюдал за улицей. Вон, напротив — Сидоренки. Ни калитки, ни ворот — здорово! Многочисленные, таборно галдя-

щие, они сновали через улицу к родственникам на углу (нашим соседям) и обратно. Казалось, что они непрерывно кричат; они всегда разговаривали на повышенных тонах — манера такая. Всё у них раскрыто — и хоть бы хны им: никого не боятся, ни от кого не закрываются и даже, кажется, собаки нет.

Откуда мне в голову залетела цифра 7 м 14 см — не знаю, но засела там, как рекорд мира 1947 года по прыжкам в длину. Я потом проверял: 8 м 13 см, рекорд 1935 года — продержался до 1960 года. А вот, поди ж ты — 7 м 14 см. Какой источник? Каким образом — без радио и газет на «Нахаловке» — неведомо, а вот запало же семилетнему пацану. И поразило — на всю жизнь запомнил.

Я страшно удивлялся: почти нашу хату «перепрыгнул» прыгун! Сам замерить длину хаты я не мог, поэтому спросил у отца. Оказалось: от крыльца до угла — 7 м. Да 2 м — сенцы.

Такой длины у нас была хата. Четырёх метров в ширину. С завалинкой по периметру: для тепла. Сенцы и две крохотные комнаты. Первая побольше: в ней печь, 2 кровати, стол; во второй — родительская спальня с комодом. Полы в хате были земляные, смазанные (наведённые) особым замесом из глины. Крыта хата была камышом. Летом в хате всегда было прохладно. Ставен на окнах не было.

...Я сижу на пороге у входа в хату. Лениво отмахиваюсь от зыков (слепней), наблюдаю бурную козьячю жизнь на завалинке: вот здесь все при деле.

— Мальчик! Поддай кусочек хлеба!

Над забором, с улицы — голова крупного мужика. Высокого. Вернее, так: крупная голова здорового мужика. Не-старого.

Я срываюсь с порога, хватаю коромысло и несусь к забору. Отец говорил мне: «Гони всех. Ты — хозяин».

— Щас как дам коромыслом! — отважно ору я. — А ну иди отсюда!

— Ух, ты! Да я тебя сейчас... — Мужик нахмурился, затопал ногами.

Я онемел от страха и непонимания: почему он не боится? Не убегает? Будто в стену влипился. Выронил коромысло и в приступе безумного, животного страха побежал прятаться в огород.

— Говнюк! — донеслось до меня от забора.

Во двор я вернулся только вечером, когда пришли с работы мать с отцом. Услышав мой рассказ, отец похвалил меня и буркнул что-то насчёт уголовников и воря.

В другой раз у меня было конкретное задание: смолоть ведро кукурузы, а не просто охранять дом.

Но что значит — «смолоть»? Это значит: ведро РУШЕНОЙ кукурузы (зёрен) превратить в крупу и муку на самодельной ручной мельнице — крупорушке.

И опять требуется объяснение.

ПОРУШИТЬ кукурузу, НАРУШИТЬ кукурузы — отдельный технологический процесс, не имеющий ничего общего с разрушением.

(Хотя, наверное — как глубоко смотреть). РУШИТЬ кукурузу — значит, очищать КОЧАН (початок) от зёрен, как колос от злака. Только технологии разные.

И вот ведро такой РУШЕНОЙ кукурузы мне и нужно было смолоть в течение дня. Для семилетнего пацана — это много. Даже очень много. Потому что происходит большая трата сил при работе на домашней мини-мельнице.

А она устроена так.

На крепкой узкой лавке, длиной чуть больше метра, закреплён оригинальный жернов. Даже не жернов, а устройство для смола зёрен кукурузы. Что он из себя представляет? Прямоугольный брусок металла сантиметров 15 в длину с шириной ребра 3см закреплён вертикально на одном из концов лавки. Верхняя часть этого бруска сделана в форме усечённой пирамиды. Нижняя — закреплена на лавке и находится в металлическом жёлобе в форме блюдца. Левая часть жёлоба-блюдца — разомкнута: через неё будет выходить смолотая крупа.

На вертикальный брусок с насечками надевается металлический цилиндр с приваренным к нему стержнем-ручкой для вращения цилиндра. Внутри цилиндра-барабана закреплены вертикальные скобы из проволоки диаметром 3—4 миллиметра. Если надеть барабан на брусок, то между скобами и рёбрами бруска — зазор минимальный. Вот и всё устройство.

Цилиндр с ручкой на 5—8 см выше внутреннего бруска.

Я сажусь верхом на лавку, насыпаю зёрен кукурузы в верхнюю часть цилиндра и за ручку начинаю вращать его. Поначалу он почти не проворачивается и я дёргаю ручку вперёд-назад, вперёд-назад, увеличивая амплитуду, и, наконец-то, делаю полный оборот. Зёрна кукурузы, зажатые между скобами цилиндра и конусным бруском, РАЗРУШАЮТСЯ от вращения барабана, просыпаются ниже, всё больше измельчаясь, и остаются на жёлобе-блюдце в виде крупы и муки. Чем быстрее и дольше я вращаю цилиндр-барабан, с засыпанной порцией кукурузы,

тем больше на выходе, в блюдце, муки и меньше — крупы. Такой помол — ценнее, потому что мука важнее крупы. Помол просеивали: крупа шла на каши, мука — на оладышки.

Смолотая кукуруза через устье разомкнутого жёлоба от вибрации и покачивания лавки соскальзывает в подставленную под жёлоб посудину: кастрюлю, чугунок, чашку.

Всё! Работай, Шурик, и не думай о глупостях.

Да я и не думал. Но из-за монотонности действий у меня стали появляться галлюцинации. Мне казалось, что под подушкой на кровати, слева от меня, лежат деньги. Я смаргивал: нет, не лежат. И продолжал вращать барабан крупорушки.

Да, как же нет! Вот же красненький край сложенной вчетверо тридцатки!

Ага! Ну, да! Деньги под подушкой и я их вижу. Да что же это такое!

Я встаю, сую руку под подушку и вытаскиваю... тридцатку. (Были такие купюры до денежной реформы 1947 года.) Я разворачиваю её, рассматриваю, не веря глазам своим, и снова кладу под подушку. Сердце колотится бешено, аж грудь гудит. Я нашёл деньги! У меня никогда их не было — и вот я нашёл!

Клад, богатство, счастье! Я снова беру деньги и размышляю. «Если деньги отдать маме — она меня похвалит. И — всё. А можно купить конфет на мостопоезде. И наестся. И ещё останутся, наверно, деньги. А вот оставшиеся деньги можно отдать маме. И она меня всё равно похвалит»

Мне и в голову не приходило, что я делаю что-то нехорошее; что деньги я НЕ нашёл, а взял у матери БЕЗ разрешения — то есть УКРАЛ.

Деньги в доме — не теряют. И — не находят. Они там живут, если есть.

Я не ведал, что творил.

Хруп, хруп —
Лебеду ем;
Труп, труп —
Сорок семь
Кукурузы початок -
Начало рая;
У кого нет начала —
Тот умирает.

И хрустит судьба
В жерновах стальных;
Сытых: раз, два...
Больше остальных

Хруп, хруп —
Хрен с маслом ем.
Нет круп:
Сорок семь.
Сохрани ты и пестуй
Росток начала,
И пусть льётся песня
Без слёз-печали.
Надо жить и ждать,
Уповать, молить,
Чтобы жажду жать —
Людам утолить.

Хруп, хруп —
Нет круп...

Расплата

Я быстро нашёл себе финансового директора, нарушая все наставления и инструкции: порученное дело не закончил, со двора вышел, калитку на засов не закрыл... Помог мне Толик Лисков, живший напротив в угловом доме, рядом с Сидоренками. Толик был на четыре года старше меня и распорядиться тридцатью рублями мог вполне. Я сказал ему, что нашёл деньги, вручил ему тридцатку и мы отправились на мостопоезд.

На железнодорожной ветке от 18-й линии до самого Урупа стояли разбитые товарные вагоны. Почему они здесь стояли — не знаю: то ли на них подвозили материалы для строительства моста, то ли ещё почему, но они казались брошенными. «На-халовка» потихонечку раздвела эти вагоны, курочила их: в хозяйстве каждая доска нужна.

Поезда в сторону Баку пока не ходили и перед строящимися мостами — транспортным и железнодорожным — расположился местный окраинный базарчик, который назывался «базар на мостопоезде» или просто: «мостопоезд».

...Это было — счастье! Леденцы-петушки на палочке — красные, сладкие, конфеты «подушечки» с повидлом внутри

и — «наганчик», сделанный из катушки без ниток. В эти годы я не помню ни вкуса сахара, ни как он выглядел. Сахар в моей биографии появится позже. А в 47-м году самой сладкой едой мог быть узвар (компот) из «сушки». «Сушкой» назывались сушёные фрукты: вишни, абрикосы, сливы.

А — тут! Да ещё «наганчик», подаренный мне Толиком Лисковым. «Наганчик» — это согнутая под прямым углом металлическая трубочка, вдетая в цилиндр катушки. В отверстие трубочки, сверху, вставлялся гвоздик, тоже согнутый под прямым углом, как и трубочка. Свободные концы трубочки и гвоздика стягивались резинкой из тросов. Вот и весь «наганчик». Чтобы его зарядить, гвоздик из трубочки вынимали, крошили в трубочку серу с 3—4 спичек, толкли серу кончиком гвоздика и стягивали концы трубочки и гвоздика резинкой. Затем поднимали гвоздик в трубочке. Резинка натягивалась и острый конец гвоздика упирался во внутреннюю стенку трубки. Теперь стоило нажать на резинку, острый конец гвоздика соскальзывал вниз, ударялся в серу — звучал «выстрел».

Летний день — долгий. Конфет я уже не хотел, «наганчик» мне надоел, денег у меня не было, а «подельник» Толик Лисков давно меня покинул. Я хотел есть. И пошёл бы уже домой, но одно обстоятельство меня насторожило: тётки на «мостопоезде» судачили о побеге из дома очередного пацана. Случаи побегов в те годы были частыми. И я не обратил бы внимания на эту новость, если бы ни приметы пацана: лет семи-восьми в синей маечке и синих трусах. Когда я услышал об этом в третий или четвёртый раз, я забеспокоился. Тем более, что «забрал дома все деньги и утёк».

— А не ты ли, сынок, сбежал? — спросила меня одна из тёток.

Я испугался.

Уверенность в том, что деньги я НАШЁЛ, стала рушиться; я засомневался: не мамины ли деньги я взял? Дом бросил, калитку не закрыл... А вдруг нас обворовали?! Испугался я кромешно: что же теперь будет?

Но я нашёл выход из этого безвыходного положения. Я насобирал досок и дощечек с обшивки товарных вагонов (кое-какие даже оторвал!), стащил их к ближайшему угловому дому на 19-й линии (там жили, потом я узнал, Каспаровы) и предложил купить их у меня. Мысли у меня были светлые, радужные: «Вот продам доски, мне дадут денег больше трид-

цати рублей, я отдам деньги маме, а она меня похвалит». Это была высшая мера поощрения: мама похвалит. Награда.

— Тётъ, купите мои доски!

— Нам не надо, мальчик.

Действительно: что они сами не могли «накурочить» досок с вагонов, стоящих в 50 метрах от их калитки?

Надежда рухнула. Солнце село. Приближались ночь и катастрофа.

Я побрёл на перекрёсток улицы Ленина и 19-й линии — к дому.

Я останавливаюсь возле дома Толика Лискова. Отсюда мне всё видно: напротив слева, второй дом от угла — наш. Свет горит, мать уже зажгла лампу (электричества не было). Напротив справа, второй дом от угла — хата дядь Жоры Котлярова, одного из младших братьев отца. Там тоже горит свет и оттуда выходит дядь Жора.

Вот мой последний шанс и надежда!

Я бросаюсь к нему:

— Дядь Жор! Продайте мои доски!

— Какие? — удивляется он и крепко берёт меня за руку.

Я объясняю.

— Не надо, — говорит дядь Жора. — Пойдём домой.

— Я боюсь.

— Не бойся. Хуже уже не будет.

И, продолжая крепко держать меня за руку, приводит меня и сдаёт с рук на руки матери:

— Вот он.

И уходит.

А у матери — гостья: богомолка Васильевна. Уж не по поводу ли беды в доме? Мать мигом выпроваживает Васильевну и всё начинается.

Я попытался выскользнуть за дверь, вслед за Васильевной, но мать закрыла дверь на крючок и взяла первые две хворостины из пучка хворостин, стоящих в углу хаты.

Я больше никогда в жизни не видел мать такой неистово яростной, безумной. Она измочалила об меня все хворостины и схватила широкий армейский пояс отца.

— Хватит! — стал на защиту меня отец.

Мать оттолкнула его с такой силою, что он упал, а сама продолжала сечь меня уже ремнём.

Пока не устала.

Пока не кончилась боль.

Я лежал на кровати, боясь пошевелиться. Мать села к столу, охватила руками голову, молчала.

Только плечи вздрагивали.

Плакала?

Это было ужасно. Больнее боли — видеть, как вздрагивают плечи матери...

...На другой день (или через день, в выходной, по всей вероятности) мать повела меня в город, на базар и покупала мне всякие вкусности.

— Чего хочешь, Шурик? — спрашивала меня мать.

А я стеснялся «хотеть»

На что была приготовлена тридцатка, я так толком и не узнал: то ли на муку, то ли долг кому-то. Мне всю жизнь было неловко об этом спрашивать, а матери, по всей вероятности, было стыдно своего затмения. Мы с мамой промолчали этот эпизод из нашей биографии. Берегли себя.

Впереди будет ещё столько острых эпизодов и трат себя — не дай бог!

Но в этот летний день мне было хорошо. Как ни прятала мать мои синяки под рубашкой — их было видно. Знакомые на базаре спрашивали мать:

— Ой, Наташ! Что это с Шуриком?

Мать смущалась:

— С лестницы упал.

Что же касается меня, то я снова был счастлив, и готов был регулярно, раз в неделю, «падать с лестницы», чтобы потом ходить с мамой на базар.

Мостопоезд, мостопоезд!

Он для речки строчит пояс,

Для людей — мосток

С запада на восток.

И жизнь кипучая —

Как ключ из-под кручи.

А люду здесь разного —

Как вшей и заразы.

А где народ — там и торг,

Там и зависть и восторг.

Леденцы-петушки
От голода и тоски;
Конфеты-подушечки,
Орехи жменями!

Жизнь придушена,
Но хрипит, тем не менее.

А вокруг — пусто,
Голодное поле.
И пока о вкусах
Никто не спорит.

Зеленя — редки,
Будто выбил град...

А вы — конфетки.
А хочется — жрать.

Рыба с мамалыгой

Вот жизнь уже прожил, но для меня до сих пор ни с чем несравнимая радость — это рыба на крючке. Не вид её, а трепетное разносильное биение живого существа в воде, азартная надежда на улов крупной рыбы — психофизические токи, идущие из воды через леску (нитку), удилище, руку в меня. А если вспомнить о том, что я удочку за всю свою жизнь держал в руках три-четыре раза, то возникает недоумение: с чего бы это у меня такая трепетность и волнение от этого процесса?

А вот — не знаю. Ни понять, ни сформулировать не могу, но так оно и есть. И когда мне, семилетнему пацану, какой-то дядька пообещал рыболовный крючок за ведро кукурузы, я мигом притащил ему это ведро кукурузы в кочанах (в початках, не РУШЕННОЙ). Дома как раз никого не было, хозяйничал я один. Я влез на потолок (так у нас на Кубани назывался чердак), набрал кукурузы — и айда! Крючок-то ведь — главное, что есть в удочке! Это тебе не ХВАТКА (рыболовная сеть) сама по себе дорогая, да ещё требующая для приманки макуху (жмых) или махан. И это — в голодный год. Нет! Удочка — это нитка, гусиное перо, кусочек свинца (после войны — не проблема), палка — и всё. А главное — крючок! Черви — в

огороде, кузнечики — в траве. Ловись, рыбка, большая и маленькая! Лучше, конечно, большая.

Я, наверное, ничего не поймал на этот крючок, иначе бы запомнил. А из пойманных в детстве рыб помнятся несколько серебристых плотвичек, да один усач, которого мы с Толиком выловили на Кубани.

У нас с ним была маленькая ХВАТКА, сделанная из обруча кадушки, но с макухой, привязанной по центру сетки. Опустили мы ХВАТКУ в полутора метрах от берега. Обычно рыбак поднимает сеть, не зная, попала в неё рыба или нет. Если попала, то уж навряд ли выскочит из сети размером три метра на три. А у нас — обруч. Диаметр в 60 сантиметров. Понятно, что такой сетью рыбу не заловишь. Но ведь охота — пуще неволи! На такой надежде замешана, что рушит любую неволю.

И вот мы вытаскиваем громадного усача! Да, да! Не менее сорока сантиметров в длину. Мало того, что вытаскиваем — на берег выбрасываем его дурака. А берег — узкая пологая полоска гальки под кручей. Рыба пришла в себя от шока, подпрыгнула серебристой дугой и шлёпнулась на голыши. Мы с братом бросились на усача как Матросов на дот, грудь, сшиблись, так что искры посыпались из глаз, но усач ушёл. В два прыжка. Привет «нахаловке». В безумстве азарта мы бросились за рыбой в Кубань — ага, ждёт он нас там, усач, как же!

Нет, не везло мне с рыбой ни в детстве, ни потом. Один раз вытащил со дна Днестра трёхлитровую банку — а в ней бычок. Но это же — так, нечаянная встреча. Да две зорьки на озере под Челябинском помню: я с одного борта лодки ловлю, товарищ с другого; он таскает одну за одной — у меня же мёртвый поплавок; сел рядом с ним — та же картина. Зато на утренней зорьке было всё наоборот. Нет, не везло.

И ведро кукурузы, отданной мною в детстве за рыболовный крючок, стоило гораздо дороже всей рыбы, выловленной мною за всю мою жизнь. Кукуруза — это всё: еда, хлеб, лакомство, корм для скота, топливо. Это абсолютно безотходная культура. Из смолотых зёрен получалась крупа и мука. Из крупы варили каши и супы, а из муки пекли рыхлые оладьи и варили вкуснейшую кашу на молоке — мамалыгу. А мамалыгу можно было есть и с маслом, и с вареньем, и с мёдом. Да самостоятельно за пирог она шла, мамалыга. Это вам не какая-нибудь, там, манка — мамалыга! А молодые початки кукурузы, налитые сладким растительным молочком, а? Свежие, сломанные с двухметрового ствола кукурузы — пробовали? А эти же по-

чатки молодой кукурузы, переложенные листьями и сваренные в чугуне, нет? Они отличаются от продаваемых сегодня на перронах вокзалов, как котлета от подмётки.

А ещё зёрна кукурузы жарили на плите. Некоторые из зёрен лопались и подпрыгивали: получались «баранчики». (Это то, что сегодня называют «поп-корном»). Мы, пацаны, особенно любили такую кукурузу. Был даже особый вид кукурузы, из каждого зерна которого получался «баранчик». И кочан такой кукурузы стоил нескольких кочанов обыкновенной, семена её покупали (выменивали) на рассаду.

Обрушенный кочан кукурузы (початок без зерна) служил топливом, как и высушенные стволы кукурузы — бодылки. Молодая поросль кукурузы, от метра и выше, шла на силос, на корм скоту. Воистину — «королева полей».

...Каждый год по весне за свалкой (это примерно там, где сейчас на южной окраине Армавира стоят элитные коттеджи по улице имени Влада Листьева) мы садили кукурузу. Отец делал неглубокую лунку и шёл дальше по ряду, а мне нужно было бросить в лунку пару зёрен и загрести её ногой. Поле — большое (так мне казалось), работа монотонная, долгая под жарким солнцем. Я быстро уставал и начинал бросать зёрна в лунку ЖМЕНЯМИ (горстями). Помню, как отец удивился, что не хватило кукурузы на посадку. Он молча прошёл по рядам, раскопал несколько лунок, понял в чём дело и сказал мне: — Выкапывай...

«Работа над ошибками» была изнурительной, долгой... постыдной. А не лукавь! Не лги. Наивный мальчишка, я полагал, что отец не заметит моей «хитрости». Ага! Как бы не так. Конечно, он, опытный пахарь и хлебороб, не считал зёрен в ведре, но знал то, чего не знал я: длину рядка, расстояние между лунками, расход посадочного материала и ценность его, материала. И, главное: он видел будущие последствия; он знал жизнь.

— Им не хватит воды в одной лунке, — говорит он мне, помогая выбирать зёрна из земли. — Они не напьются. И засохнут. Вон сколько кочанов ты похоронил. Не одно ведро кукурузы...

Я замирал: откуда он мог узнать про ведро кукурузы?! Я не думаю, что он узнал про мой «бартер», но вот такое странное свойство его характера — попадать пальцем в небо — было, пардон, характерно для него. Мать не однажды говорила отцу в подобных случаях:

— Хведя! У тебя прямо хироман за пазухой!

Закончив посадку, мы вымыли руки в дождевой луже. Отец достал бутылку с остатками воды и вытащил из неё пробку — кукурузную кочерыжку:

— Пей...

Вода была тёплой, но желанной.

Я вспоминаю, как отец не раз говорил с непонятной мне гордостью:

— Кто хоть раз напился кубанской воды, то обязательно вернётся ещё раз попробовать.

Был ли мне какой прок от этого урока с кукурузой — не знаю: я очень устал. Но всю жизнь помню слова матери: «Ленивый два раза делает». И стараюсь не подтверждать это присловье.

...Когда через какое-то время появились всходы — зелёные, весёлые ряды кукурузы — то воочию проявился и мой обман: лунки, которые мы просмотрели, упустили с отцом, травно щетинились тонкими былинками.

Сколько ведер кукурузы?

— Ничего. На ошибках учатся, — не улыбаясь, сказал отец.

До креста тесового — жить да жить!
На Кубань отцовскую казак бежит:

В город ветродуйный, на самый край.
Там, за краем кручи исчезает рай.

Беглая «нахаловка» примет казака,
Как бывшего касбага или кулака.

А за кручей — доли, холмы, Кавказ;
И в судьбе по голову казак увяз.

Над холмами синими день встаёт,
Только жавороночек в небе не поёт.

Не рвать, не щипать — вашу зелень показать

— Вы же себя калечите! — зывали учителя.

— Одна нога станет короче другой! — конкретизировали они.

— Правая! И — кривой, — уточняли сердобольные.

Речь шла об игре, которая называлась «ДЖЁСКА». Сама джёска — это кусочек овчины или козьей шкуры с длинной шерстью, к коже которой «пришивалась» плоская бляшка свинца. Подбрасываешь рукой джёску и внутренней стороной стопы правой ноги... Уф!

Нет, не так.

Подбрасываем джёску. Берём правую ногу. Поворачиваем внутреннюю сторону стопы (она же — левая сторона стопы) вверх. И не только поворачиваем, но и бьём ею снизу по свинцу падающей джёски. Джёска летит вверх, стопа ставится на землю. Джёска, подчиняясь закону притяжения, падает снова вниз. Берём правую ногу... И всё повторяется многократно. Десятикратно. Стократно.

И тут — несколько нюансов. Чем горизонтальнее будет положение стопы, тем точнее будет удар по джёске и больше будет этих ударов до падения джёски на землю. Некоторые игроки до пятисот непрерывных ударов делали!

Для пущей горизонтальности надо было припадать на левую ногу. Стоя на прямой левой — в джёску не сыграешь.

Увлечение было повальным: куда ни глянь — везде группы пацанов, играющих в джёску.

Такой же тотальной, повсеместной заразой была игра в «Кёли». Одна кёля — это бумага или картон, сложенные в конверт наподобие аптечного конверта для порошков. Кёля разглаживалась, плющилась под каким-либо грузом и была готова к игре. Нужно было свою кёлю с силой бросить плашмя на землю рядом с кёлей другого игрока. От порыва ветра, производимого своей кёлей, чужая могла перевернуться. И тогда ты её выигрывал, забирал.

Кёли были величиной с ладонь. Из чего только их ни делали: из тетрадных и книжных листов, из картона, из обложек книг и даже из тОли и рубероида. А чтобы кёли были плотными и плоскими, их клали под колёса поезда.

Не менее популярной была игра «В ДУКА». Но она требовала простора, клюшек (палок) и подготовленной площадки.

И тут самое время сказать о выгоне.

...Это было удивительно! Почему здесь: на краю кручи, над самым обрывом? Перед хатой — луг, выгон, поле. За хатой — обрыв и даль. И не та даль, которая открывалась мне с порога моего дома на втором участке, а другая: глубокая, синяя, переходящая в небо.

В этой хате жили Мушенковы. В отрыве от всех — через пустоту. Ближайшие соседи — метров за двести: на 18-й линии и на улице Красноармейской. Сын Мушенковых, Василий, дружил с моим старшим братом Николаем. У них были интересные аббревиатуры, ФИО: у Николая НАМ (Николай Андреевич Мишутин), а у Василия — ВАМ.

Дружба Николая с Василием была долгой, крепкой и надёжной. Когда после армии Николай с женой уехали в Челябинск, Мушенков уже был там и, думаю, как мог, содействовал устройству молодожёнов. А жил в Челябинске Василий Мушенков, как и в Армавире, на отшибе, на краю города: на ЧМЗ, да ещё в Китай-городке, кажется, на улице Трудовой. Странное родовое стремление — уходить в отрыв. Кто есть жители «нахаловки»? Крестьяне, бывшие казаки, рабочие. Но никаки не гуманитарии. А Василий стал художником. В Челябинске он носил окладистую бороду и стремительно лысел.

К чему я столько говорю о Мушенкове? В моей судьбе он никакой роли не сыграл. (Хотя как сказать: вот пишу ведь о нём.) Но личность больно колоритная, необычная, а потому и не мог «пройти мимо».

Но возвращаюсь к выгону и к играм.

Игр было много и все игры — для улицы. И выгон был идеальным местом для сборов и игр: как стадион. Играть можно было в разные игры в разных местах выгона одновременно. «Кёли», «джёска», «дука», «чижик», «чика», «лапта»... А ещё: «казаки-разбойники», «сыщик, ищи вора», «не рвать, не щипать — вашу зелень показать» и т. д., и т. п., и др. Много!

Трудно сказать, в какие игры играли чаще. Возможно, что «в дука» На выгоне была постоянная площадка для этой игры. На этой площадке была яма диаметром сантиметров сорок и глубиной — пятнадцать. А вокруг неё, в радиусе 1,5 метров, 5–6 маленьких ямок. Большая яма называлась «котёл», а маленькие — «дУчками». Для игрока, который «пасёт» (т. е. галит, водит), нужно было попасть мятой консервной банкой в «котёл». И пока игроки защищают клюшками «котёл» от банки, нужно было успеть свою клюшку «макнуть» в любую пустую «дУчку». Хозяин пустой «дУчки» менял водящего.

— Моя дУська заколюська, гавном записятана! — орёт на ломанном человеческом языке косноязычный Ваню Сидоренко.

Это заклинание — «моя дУчка-закорючка г...м запечатана» нужно было прокричать до того, как в «дУчке» побывает чужая

кляшка. Ваню не успел и сейчас брызгает слюной, доказывает свою правоту.

...Мы носимся по зелёной майской траве. Майские жуки гудят, как «кукурузники», натываются на нас, падают в траву и сердито взлетают снова.

— Не рвать, не щипать — вашу зелень показать!

Это пацаны помладше стараются заставить врасплох друг друга. Где они держат зелёную травинку — под майкой, в кулаке, во рту — неважно, но зелень всегда должна быть с тобой. Ты по первому требованию обязан предъявить эту травинку тому, с кем поспорил.

— Ага! Нету! Два щелбана!

— Нет!

— Да!!

— Нет!!

Женька-Пупа зря ищет зелень: майка давно выскочилась из трусов и травинка потерялась.

— Башку подставляй!

— Не надо так!

Популярное было выражение, означавшее несогласие, отрицание.

— Ты выдернул мне майку из трусов, и я потерял зелень!

— Нет!

— Да!

— Ты на кого тянешь? — вступает за Женьку Вовка Сидоренко. — Я видел!

— Не надо так! Он сам!

— Что за шум, а драки нет? — спрашивает Вася Мухомов у мелких.

— Да вот, — объясняет ему Толик, брат мой, — проиграл: зелень потерял.

Василий смотрит на Женьку-Пупу, на его коленки и говорит:

— А это что?

На сбитых коленках Женьки — сок зелёной луговой травы.

Солнце своим нижним краем цепляется за западный окоём; длинные тени мальчишек бегут по выгону и проваливаются под кручу, за хату Мухомовых, сшивая в пространстве Уруц, лес, горы, небо. А там, в небе, тархтит «кукурузник», золотой в лучах заходящего солнца.

И трава, и дети вбирают в себя закатное солнце, тёплый живой свет детства.

Не рвать, не щипать, — вашу зелень показать...

А жестянка — вдрызг!
А над бровью — кровь.
Веер алых брызг
И резонный рёв.

Разворот азарта —
И свистит клюка!
Голоса базарны —
Мы играем в дукá

Жека бьёт убойно,
В лунку жесь стремится —
Завалю больно,
Но он глух, как щит.

Сидоренко Ванька
(На язык глуповат)
«Не попал, засранка!» —
Кричит в тыщу ватт.

Над борьбой, травой
Майский жук гудит;
Как снаряд, с подвоем
Банка к нам летит.

Сквозь очёчки-линзы
Изречёт Бопрэ:
«Се ля ви» капризна:
Видишь как не прэ.

Ну, а там, за днями
Хватит всем побед;
И не меньше с нами
Будет бед-перебед.

Будет ясно с годами,
Кого жизнь забьёт.
Но уже меж нами
Кровь не зря идёт.

Но всё будет завтра,
Всё потом.
А пока
По весне азартно
Мы играем в дукá.

С ранамира майдан карясиа

У них была большая семья. Назову только тех, кого помню, по нисходящей: Василий (самый старший. Или — Марийка?), Марийка, Николай, Ванó (Иван), Вовка. Были ещё и помельче, но я их не помню. Это — всё Сидорéнки. Марийка, Николай и Ванó — грузные, с одуловатыми лицами и толстыми губами. Василий и Вовка — сухощавые, высокие. Ваську можно было считать даже красивым.

Это была странная семья. Родителей их не удержала память, а про детей кое-что помню. О Ваське (старшем) ходили слухи и чуть ли не легенды. Он слыл отчаянным парнем и кентовался со шпаной. В конце 40-х, да и в начале 50-х «нахаловка» была пропитана слухами о проигранных в карты человеческих жизнях, о случайных судьбах случайных людей. Жизнь могла оборваться в кинотеатре, на улице, в очереди. Кто терроризировал «нахаловку»? Ясное дело: воры и бандиты.

Иногда с происшествиями связывали и имя «Васька». Не Сидорéнко ли Василий? Какая-то внутренняя логика в этом была. По крайней мере, говорили, что Васька бросился с урупского моста головой вниз на валуны и камни. С чего бы это? Последние слова его якобы были: «Прощай, мама!» От этой жизни веяло страхом и романтикой.

Громкоголосая, базарная Марийка была олицетворением клана Сидорéнков. А вот Николай — такой же настырный и горластый, как Марийка и Ванó — породнил нас с Сидорéнками: женился на нашей Тамаре. И это было странно. Тамара вроде бы любила Ящу-сапожника, парня интеллигентного, не вписывающегося в «нахаловские» образы. Правда, Яша был хром: одна нога короче другой. Но кого этим удивишь после войны? Вот чем улестил Тамару говорун Николай? Помню Тамарины слова о своём избраннике: «Как увижу его, так прямо...». И дальше — междометия, вздохи.

Поженились они. Сообща — колхоз имени Сидорéнковых и братьев отца — на пустыре, на заброшенном ПЛАНУ, за домиком Толика Бопрэ, построили молодым ТУРЛУЧНУЮ

хату. Тут надо бы приостановиться и рассказать: что из себя представляет турлУчная хата? Непонятно ведь.

Делался замес: глина, солома, навоз, вода и песок. Его месили-перемешивали босыми ногами мужчины, женщины, дети; лопатили-перелопачивали до однородной консистенции. Над фундаментом будущей хаты сбивали опалубку для стен и заливали в эту опалубку замес (вернее — забивали, потому что замес был густым). Тщательно трамбовали, снова заливали. Когда первый круг («венец») подсыхал, начиналось всё заново. Так росла турлУчная хата. Иногда делали каркас турлУчной хаты наподобие плетня и потом этот каркас забивали и обмазывали замесом

Из подобных замесов делали и САМАНы: глинобитные блоки, наподобие шлакоблоков. В те годы возле многих заборов и палисадных стояли пирамиды подсыхающих саманов. Строилась разрушенная войной Кубань.

Общим, стали молодые жить-поживать, да детей наживать. А дети пошли косяком: плодовицы Сидорéнки.

Тамара до замужества была швейей, работала на швейной фабрике. И когда появились дети, не знаю, на что они с Николаем жили. Николай работал сторожем или пас овец: похоже, что он был инвалидом. Да и Тамара маялась с почками. Сложно жили.

Вано и Вовка — тоже странные Сидорéнки. Вовка, в противоположность типичной базарности Сидорéнковых, был угрюм и замкнут. Сутол. Мог сесть на обочине дороги по улице Ленина и онанировать. На 19-й линии, почти напротив своего дома. Днём. И это не было какой-то «акцией протеста» (тем более «перфомансом»). Он делал это в своё удовольствие. Жутко становилось от его немотивированного бесстыдства, от его отрешённости и спокойствия. И из жизни он ушёл как-то странно: то ли заболел «нехорошей» болезнью и умер, то ли убили где-то.

Изо всех Сидорéнковых только Иван был косноязычен и «хром на речь»: он коверкал, или совсем не выговаривал отдельные слова. Может быть, по этой причине его все звали на кавказский манер: «Ванó». Его дразнили, но он, по-моему, не обижался: был открыт и простодушен.

В тридцать семь лет отличился тем, что стал дедом.

— Как это? — спрашиваю я при встрече.

— А шо? — орёт он — Дурное дело — не хитрое!

(Я фразу даю уже «в переводе»)

Оказалось, что он нашёл себе разведёнку и был страшно доволен. Ещё бы! Во-первых: женился, наконец, а во-вторых: стал как все — человеком! Разведёнка была гораздо старше его и уже год носила титул бабки. Тем лучше: Ванó получил сразу всё и автоматически стал дедом.

Он весело сверкает одним глазом: на другом — повязка.

— А с глазом что?

— Так, умных — нэма (это я — «в переводе»), а дурней — тьма! Вот и выткнули!

Вспомнили детство. Игру в дукá. Ванó втыкает клюшку в дýчку и орёт: «Моя дуська заколюська...»

Ванó старше меня лет на пять, но почему-то в детстве бывал часто с нами. Мы-то пасли за Урупом своих коров, а у Сидоренкиных коров вроде не было. Но Ванó был с нами.

Пацаны подбегали к пассажирским поездам, идущим с Кавказа в сторону Армавира: из окон пассажирских вагонов часто выбрасывали крупные «чинарики», недокурные папиросы — готовились к выходу. Из поездов, которые шли из Армавира, в сторону Баку, ловить было нечего: окурки оставались на армавирском перроне. Но даже когда поезда шли ИЗ Армавира, Ванó всё равно предупреждал курящих пацанов:

— С ранамира майдан карясяся!

Что «в переводе» означало: «Из Армавира поезд едет!»

Надо сказать, что «нахаловка» легко «ботала по фене»: район такой, специфический. И время. «Пахы», «атас», «котлы», «угол»... Господи! Да чё порожняк гонять: я нормальных слов знал меньше, чем блатных. И поэтому сегодня, когда какие-нибудь мальчики от журналистики карты «тусуют», или сами «тусуются», меня, коренного «нахаловца», это оскорбляет: карты Т-А-С-У-Ю-Т.

По всей вероятности это произошло в 60-е, литературное приобщение к «фене». И Солженицын, и выпущенные из лагерей, и муть блатная по всей стране, как смутный протест или латентная смута. Интеллигентские мальчики из московских двори́ков, приобщившись нечаянно, а затем и с удовольствием к блатной фене, уже три поколения транслируют её через литературу и «шансон». От первоклассника до президента — все «ботают». Ребята возомнили себя знатоками тюремного фольклора и транскрибируют его на свой лад. И получается у них, как у Ванó Сидоренки: «С ранамира майдан карясяся».

Печально.

...Я не помню, чтобы мы, наша семья, ходили в гости к Сидоренкам или они к нам. Не помню застолий и совместных праздников. Может, их мало было, совместных. Не сложилось почему-то. И племянники мои (Котляровы) не очень-то дружат с племянниками Сидоренкиными.

Странно.

А может — и нет.

Накроем стол под виноградом,
Напротив отчего крыльца.
Несуетливо, непарадно
Откроем вина и сердца.

Поговорим о жизни разной,
О путях быта и беды;
Сдадимся медленно и праздно
Июлю жизненной страды.

Мы станем у обрыва кручи,
На самой кромке бытия,
Где ветер вечный и колючий,
Где начинались ты и я;

Где за Кубань уходят дали,
Уходит линия судьбы...
Нам важно было не истаять -
Остаться и собою быть.

И закрепляя наши узы,
Мы по стаканчику нальём,
Закусим скибочкой арбуза,
И песнь казачью споём.

Я ем гру́щу

Мы идём в школу. Эдик Гюльзатян и я. По 18-й линии мы выходим на улицу III интернационала (теперь — улица Мира). Улица — односторонняя: через дорогу от домов — железная дорога, а за ней — мясокомбинат. Дорога — не шоссе, а какая-нибудь, а шоссе, выложенное крупным круглым булыжником. По обе стороны шоссе — высажены молодые пирамидальные тополя.

Мы замечаем в кювете дороги женщину: голова у неё отрезана и лежит, будто отодвинутая от шеи. Мы не пугаемся. Не знаю, почему не боялись. Мы смотрим на труп с любопытством. До сих пор помню рябое лицо женщины и её тёмно-синее платье.

Дорога ведёт нас дальше, до 13-й линии. За полотном дороги, вдоль всей стены мясокомбината — горы угля. На южной окраине Армавира нет никаких промышленных предприятий, и высоченная труба котельной мясокомбината являет нам пример величества и могущества. Труба гудела (так мы думали) два раза в сутки: в начале рабочего дня, в восемь часов утра, и в конце — в шестнадцать часов.

Мы задираем головы, рассуждаем: как далеко видно с трубы?

— Как с самолёта.

— Нет, — лучше, — говорит Эдик.

— Почему?

— Самолёт пролетел — и всё. А труба на месте стоит: оглядеться можно.

— Наши хаты, наверно, видно.

— И Армению...

Откуда появилась семья Эдика на «нахаловке», не знаю, но тосковал он по Армении.

На 13-й линии мы огибаем мясокомбинат с северной стороны. Затем по улице Беконной (теперь — улица Лавриненко) идём до школы № 3. Той самой, где в 1946 году мама работала уборщицей; той самой, за которой почти в поле стоял наш первый украинный домик.

На том месте, где сейчас троллейбусное депо и рынок, было футбольное поле. И здесь мы отмечались: пинали ногами консервную банку. У Эдика был туберкулёз позвоночника. Небольшой горб находился где-то в районе поясницы и от этого Эдик был неправдоподобно прям, с выпяченной грудной клеткой. Но консервную банку старался гонять как все.

Мы минуем стадион и поворачиваем налево к школе.

Когда я пошёл в первый класс этой школы, мой брат Толик остался на второй год во втором классе. Я перешёл во второй класс, а Толик — в третий.

А в четвёртом я его догнал, потому что он и в четвёртом классе просидел два года.

Подходим к школе, и Эдик напоминает мне о принятом нами решении:

— Всё, ты с Лягвиком дружишь, а Адка — моя.

Это он о девочках из класса. Фамилию девочки Ады я не помню, а у девочки по фамилии Логвиненко не помню имени. Хотя память держит многих: Муратов, Гринько, Варакина, Шахов, Коптилова, и это — не глядя на фото. А вот круглолицую, веснушчатую девочку Логвиненко забыл, как зовут. Ай-я-яй, Мишутин! Меня поражало, что горбатого Эдика Гюльзатяна совсем не смущала собственная инвалидность. Вот ведь как! Можно ли представить сегодня такое?

Учиться мне нравилось. Помню школьную стенную газету, а в ней рисунок: несколько ребятишек держатся рукой за «пятёрку». Под рисунком расшифровка: фамилии ребятишек. Среди них — и моя. Отличником я был. А потому — многое помню из учебников. Например, стихи о немцах и о морозе:

... А на снегу, повесив нос,
Стоит фашист безрадостный.
«О чём задумался, фашист?»
Спросил морозец маленький.
«Насилу ноги я унёс
От холода от вашего».

Вот такие немудрёные стихи о причине поражения немцев под Москвой. И ведь цензуру прошли! Считалось-то, что только усилия Красной Армии и гений Сталина стали причиной поражения немцев под Москвой, плюс подвиг двадцати восьми панфиловцев. Ан, нет! И сибирские дивизии, и морозы сыграли свою роль в поражении немцев под Москвой в сорок первом году.

Я помню и стихи Сталина — в четвёртом или пятом классе — в «Родной речи». Стихи были о книге. Меня это поражало: Сталин, сочиняет стихи! Будто и не вождь он во все, а Пушкин или народ. Текст стихов не помнится, но совет Сталина об отношении к книге запомнился: «Разрежьте, но не рвите». Станный совет.

Учебники (или некоторые из них) были ещё довоенными. То ли в «Родной речи», то ли в «Истории» были зачёркнуты портреты Ежова и Шамиля. Нам объясняли: это — враги народа. Ну, враги, так враги. Понятно. А вот с правописанием слов, с объяснением смысла и значения слова были сплошные непонятки. И тут язык мой был воистину враг мой.

Мало того, что нас сбивал с толку блатной жаргон, так ещё и местный диалект: чудовищный замес украинского и русского языков, кавказских слов и одесских выражений. Чувяки, очкур, глечик, чувал, можара... «Петушки» — это не молодые петухи, а цветы (ирисы), курник — это не пирог, а курятник, дереза — облепиха, узвар — компот.

А диалоги какие!

— Ну и шо?!

— А не шо — не гавкай!

— Сама не гавкай: тебе не ЛиЧИТ!

— Тю! Чия бы корова мычала...

Или вот.

— Шо ты тут мне КОНИКИ ВЫКИДЫВАЕШЬ?

— А ты не ПОВАЖАЙ его!

— Та на вас не НАСТАЧИШЬСЯ.

— А — не ПОВАЖАЙ! А то я ему говорю, а ему ХОТЬ БЫ ХНЫ.

— Где он щас?

— А ХТо ЗНА...

И когда мне в домашнем задании нужно было придумать предложение со словом «грущУ», я написал: «Я ем грУщу». Я не знал таких деликатных слов, как «грустить», «грущу». «Грущу» было похоже для меня на «гущу» и на «грушу». Поэтому я и ел «грУщу».

Однажды мать говорит мне, взрослому мужику (после армии): «Саш, сбегай ИСКРЕННЕ в магазин: хлеба дома нет». Вот она — ГРУЩА! Я всю жизнь избавляюсь от неё.

Я уже звонко произносил «г» и не было в моей речи «пионЭров» и «инжинЭров»; я уже был педагогом по сценической речи в академии культуры, когда один малознакомый человек сказал мне: «А вы — с Кубани».

Вот у этого человека был слух на родной язык! Восхищение вызывает.

Оказывается, я всю жизнь тащу за собою эту ГРУЩУ.

Разную.

Мы вычёркиваем из книжки,
Как нашкодивших дошколят,
Тех, кто стали сегодня лишними
И народу всему вредят.

Вот Ежов, вот Шамиль столетний
Перечёркнутые глядят.
Ну и что, что их нет на свете —
Всё равно народу вредят.

Растворится ещё чьё-то ФИО,
Станет в синий расстрельный ряд
И ни капли чернила мимо —
А народу пусть не вредят.

Икона

Моя первая учительница — Анна Николаевна Романенко. Жила она в нашем же квартале, по нашей стороне, на углу 18-й линии и улицы Ленина. Учила она меня с первого по четвёртый класс, и моя мама подружилась с нею. Году в сорок седьмом (восьмом) Анна Николаевна «сошлась» с каким-то «военным» и родила от него сына. Через пару лет «военный» бросил учительницу. Объявления об их разводе в газете не было (в то время в местных газетах обязательно печатались объявления о разводах), и выходило так, что учительница «нагуляла» ребёнка.

Какой общий знаменатель послужил матери основанием для дружбы с Анной Николаевной — не знаю, но учительница подарила маме икону: на толстой доске канонический лик «спасителя нашего» Иисуса Христа. Мать говорила: «Это — икона бабушки Анны Николаевны. На потолке лежала». Ну, понятно: советский учитель и вера в бога — понятия «несовместные».

Уже будучи пионером, я спросил у матери: «Зачем у нас икона висит? Бога же нет!» «Никто не знает, — отвечала мама, — есть ОН, или нет. А если — есть? Уж лучше поклониться». Вот чему её жизнь научила: уж лучше поклониться. И поди пойми, что ей помогало всю жизнь, до войны, в войну и после: люди или вера? Похоже на то, что без веры жизнь была бы совсем уж беспросветной.

В нашу семью вера так и не вошла: отец — коммунист, дети — пионеры да комсомольцы, где тут поселиться слепой вере.

Но помню сочельник. Морозное предвечерье, хрусткие лужицы — снега почти нет — не холодно. Солнце ещё не зашло, вечернее небо ясное и глубокое, а закат наливается красным, предвещая завтрашний ветер. А я иду через весь Армавир —

с южной окраины на северную, на Туапсинскую, 52 — несукутью бабушке с дедушкой. Тихо.

А утром рождественского дня, затемно, мы, ребятишки, с шестиконечной звездой в руках (а внутри звезды горит свеча) идём к знакомым «христаславить». Заходили и к незнакомым, просились: «Тётъ! Пустите порожествовать!» Если пускали, то мы, зайдя в хату, гундосили на разные голоса:

Рожество твоё христи боже наш,
восиямира свет разума...

Слов не понимали, они сливались в какую-то бессмыслицу. Мы с облегчением заканчивали:

Наш бог ради родился,
Вот рачимладом предвечный бог.

Получали свои подарки и шли дальше. И была — радость.

Однажды мы с братом Толиком были в церкви на всенощной, в пасхальную ночь. Это было здорово: не спать всю ночь, ждать появления плащаницы и освящения куличей. А потом — пасхальный завтрак. И главным для меня на этом завтраке были не кулич и яйца, а жёлтый брусок сливочного масла в сияющих капельках воды. Завтракаем мы во дворе, солнце давно встало, а потому в каждой капельке — радуга.

Вкусно было — необыкновенно!

Нет, не поселилась вера в нашем доме, но праздники заходили к нам. И это помнится светло и радостно.

Я, уже будучи студентом пединститута, снял однажды подаренную учительницей икону со стены в комнате. Снял потому, что хотел перевести со старославянского надпись в руках «вседержителя». Я делал это тихо, в полумраке — шёл час кубанской «сиесты». Лето, жара, полдень. Ставни в доме прикрыты, в комнатах прохлада, родители отдыхают. Как мать услышала мою возню — не знаю, но вышла следом за мной во двор. «Не смей», — сказала она, предполагая чёрные действия со стороны сына-атеиста. Я заверил её в своих чистых помыслах, протёр керосином и постным маслом икону и прочёл надпись. И оказалось, что это был не Никола-угодник, как считала мать, а Иисус Христос собственной персоной.

— А в книжке-то, что? — спросила мать.

— «Придите ко мне все труждающиеся и обременённые. Я упокою вас», — перевёл я написанное на листах книги.

Мать помолчала, потом сказала:

— Беременные, значит тоже... — И добавила. — Ну, да...

Провела ладонью по иконе, как пыль сняла, и закончила свой внутренний монолог обращением ко мне:

— Учись, сынок.

Меня поражало умение матери поддерживать отношения с очень разными людьми: ладить с ними, находить общий язык. Её слушался и пьяница Мацепура, и буйный Николай Котляров, брат отца, она укрощала неугомонного Фёдора Голеницкого и дружила с богомолкой Васильевной.

У неё в подругах ходила, как бы мы сегодня сказали, интеллекулалка Нина Тимофеевна. Она была откуда-то с Волги и примерно одного года с матерью. Прихрамывала и писала стихи. Политические. А может — идейные. Представьте: маме — за сорок, зрелая женщина, всячески жизнью битая и цапанная, замордованная заботами и семьёй, слушает стихи о «Сашке Керенском». В исполнении Нины Тимофеевны. Слушает сосредоточенно, как на икону смотрит. В российском захолустье, на окраине провинциального городка — стихи для единственной слушательницы. Будто исповедь обоюдная у этих женщин.

...Домик Анны Николаевны Романенко ещё в этом веке стоял на месте. Но в 2008 или 2009 году его снесли и на его месте построили детский городок. Такие ставят во дворах многоэтажек. Единственный в округе. Хорошая, символическая память об учительнице.

Давно ушли из жизни и мама и Анна Николаевна, а икона — здесь, у меня дома. И торчит в ней гвоздь, вбитый столет назад.

А мать и икона сливаются в один образ.

Пускай поле прорастёт, поле брани,
Не ковыльным роковым — полем братьев,
Пусть останется душа неисчерпанной
Ясной утренней зарёй и вечернею,
И печальный золотой лист осенний,
И бушующий весной куст сирени,
Крик ребёнка не в беде — при рождении,
От наветов сохрани, наваждений,

Чтобы каждый божий день жить хотелось
И для этого не требовалась смелость,
Кровь дурную заключи, силу грубую,
Сбереги и сохрани хрупкость хрупкую.

Кубань гуляет

Наши две палатки стояли в ста метрах от моря на берегу небольшого ручья-речушки, имени которого я и не запомнил: то ли Псу, то ли Тхе — где-то под Лазаревкой. Вдруг неожиданно, прямо на глазах, вода в ручье стала пениться, подниматься и шириться. Противоположный от нас низкий берег речушки стало заливать водой: поплыли вещи и палатки таких же «дикарей», как и мы. Поток стал бешеным и опасным.

Вот и река Кубань такая. Вернее: и Уруп, и Кубань. Они тоже питаются талой водой ледников и летом непредсказуемы. Понесёт пену по серой глинистой воде, скроется в мутном потоке выбеленная солнцем галька и станет ясно: Кубань поднялась. Летом это часто бывает. А вот когда река выйдет из берегов, да зальёт огороды, сады, жилища, то тому и определения другого нет, как — Кубань гуляет. Буйно, неудержимо.

Так и «нахаловка» после войны и голода сорок седьмого года «оттаяла» и загуляла. Такие две беды пережить — начнёшь ценить жизнь. И будешь воспринимать её как подарок и праздник. И «нахаловку» понесло: вышла из берегов. Государственных праздников было мало: 7 ноября, да 1 мая, да и те не отмечались шумно, душевно. Как-то, не знаю, не помню радости. И не потому, что сейчас «актуально» ТАК относится к этим праздникам, нет. У меня, взрослого, и сейчас ностальгия по этим праздникам. Но в детстве я видел семью и соседей и эта «государственная радость» меня не зацепила. А вот свадьбы, крестины, новый год, рождество, пасха — это да, милости просим. Люди торопились жить. Любая душа просит радости, лечится ею и выздоравливает. И «нахаловка» нашла лучшую форму воплощения этой радости: роднилась напропалую.

В 2010 году, летом, угощает меня Иван Аникин: я — в отпуске и у него в гостях. И всё «брат» да «брат» в обращении ко мне. Спрашиваю:

— Ты что, Иван? На кавказский манер меня братом называешь?

— Нет, почему? Мы — братья.

— Это как же так?

— Твой отец, Фёдор Иванович Котляров — родной брат дядь Жоры. А дядь Жора был женат на сестре моей матери. Так кто мы?

Я замер. И никак не могу настроиться на волну родства. Я сто лет знаю Ивана как НЕ родню.

— Дети дядь Жоры — мои двоюродные братья и сёстры. — Выхожу я, наконец, из ступора. — А ты им — тоже двоюродный. А мне ты кто?

— Троюродный.

— Нет. Послушай, — объясняю я — Вот если бы наши родители были родными, то мы с тобой были бы двоюродными. А наши дети меж собой стали бы троюродными. А мы с тобой ведь — одного посева, предвоенного. Мы — одного поколения.

— Значит, мы с тобою — двоюродные.

— Хуюродные!

Мы уже достаточно выпили, и мой ответ не был обидным.

— Мы с тобой — седьмая вода на киселе. Ну, может, пятая. Не обижайся. К тому же: Фёдор Иванович мне ведь не родной отец.

— Это — да. Это так. Но ты ведь считал и считаешь его родным? А, значит, его родственные связи — твои тоже. Саш, подумай: нас так мало...

Чёрт те что!

— Вспомни, — говорит Иван, — на всех гулянках — наши родители вместе. И в хуторе Зуеве мы были с тобой вместе. И на 2-м участке, я тебе говорил, мы жили в одном доме. Ну, немцы по балочке шли, я тебе показывал!

(Было такое: ездили мы с ним туда почти через семьдесят лет после проходки немцев по балочке).

— Отец твой и моя мать, — продолжает Иван, — из одной станицы, Урупской.

Невероятно!

— Что же получается, — прихожу я в себя, — твой зять бегал блядовать к твоей племяннице?

Теперь стал в тупик Иван.

— Тётъ Маруся Мацепуриха — двоюродная сестра моей матери, — объясняю я. — А зять бегал к внучке тётъ Маруси. То есть: к твоей какой-то там племяннице.

Было такое, было!

— Выходит, что так, — хмурится Иван. — Вот гад!

Зятя он давно выгнал, но переживаний сейчас добавил.
Как всё переплелось!

Плодовитые Сидоренки сколько добавили мне родственников? А братья Котляровы? Сколько троюродных и далее родных — сколько? Россия! А Валентина Толкунова, родившаяся в Армавире в знойное лето сорок шестого года, не с «нахаловки» ли?

Густо засеяла «нахаловка» поле жизни: куда ни кинь взгляд — везде родной колос.

Не знаю, откуда что бралось — водка и самогон — мал был, но выпивки всегда хватало. Плюс — свои настоечки да наливочки. По магазинам не бегали. Да и магазин-то был один, на 11-й линии, совсем не рядом.

Застолья были шумными, широкими, выплёскивались за палисадники на улицу, вбирая в себя и соседей, и людей случайных. Как в деревне.

И любили петь.

В застольном репертуаре не было ни «Катюши», ни «Тёмной ночи», ни «Землянки». Из «военных песен», так сказать, я запомнил одну от мамы — не застольную — «Ночь прошла в полевом лазарете» и «Огонёк». «Огонёк» пели все, в каждом застолье.

Женщины пели с надрывом, как судьбу на суд выдавали. А дядька Колька Мацепура, как всегда ёрничал:

На позиции — девушка,
А с позиции — мать;
На позиции — целочка...

Его никто не останавливал, не перебивал. Пели своё. А Мацепура напрягался, лысина блестела, жилы на шее вздувались, рябое лицо спорило со всеми и ревело:

А с позиции — блядь...

Сам дядька Колька не воевал.

Когда вышел фильм «Кубанские казаки», все запели песню «Каким ты был...». Песня нравилась: она была о судьбе. И хотя пели уже без надрыва, в глазах женщин стояла глубокая неизлечимая печаль.

Но чаще всего пели народные песни, украинско-кубанские и казачьи: «По-над лугом зэлэнэньким», «Ой, при лужку, при луне...», «Посяяла огырочки», «Ой, на горе та й женцы жнуть»

И до сих пор «нахаловка» гуляет так, будто на дворе 1950-й год, а не 2012.

На Кубани не говорят «пировать», «праздновать», а говорят «гулять».

У Аникиных гулянка —
Стало быть большая пьянка.

Народ в это время — неистов и даже немного безумен — неуправляем. Такой же бывает и река, когда «гуляет» — буйная и своенравная.

А День победы наступает в среду.
Вот загуляют и Кубань и Дон!
Отпразднует «нахаловка» победу
...И дядька Колька гонит самогон.

Кубань гуляет.

У Аникиных гулянка —
Стало быть, большая пьянка.
Поёт сочно, не в разброд
Жизнью спаянный народ:
«Перепад, перепад,
Перепало невпопад:
Теребили в Армавире —
Шило вылезло в Сибири.
Сибиряк — синий взгляд,
На рябину скуповат.
Твоя веточка завяла:
Армавирочка заклала.
Мацепура, Мацепура,
Ты — хреновая натура:
Стакан водки засосёшь —
Хреном хату разнесёшь».
В огороде в лопухах, где городьба,
Сидит Марья Кононенчиха, вдова.
От слезы её, от зноя глаз затёк
И беззвучно тянет жилы «Огонёк».
А «нахаловка» гуляет и поёт —
Значит жизнь, а не война по ней идёт.

Одежда времени

Я любил ветер. А ветра в Армавире — много: и зимой и летом, ласковых и колючих — разных.

Я иду по железной дороге, по шпалам, навстречу ветру. А ветер забивает дыхание, свистит в ушах, и я ничего не слышу. И только по взметнувшейся «руке» семафора я догадываюсь, что меня догоняет поезд.

Я схожу на обочину, останавливаюсь, смотрю в окна проносящегося мимо меня пассажирского поезда «Москва — Баку». Лиц пассажиров я разглядеть не успеваю: мелькают папахи, кубанки, фуражки, какие носит товарищ Сталин и даже, похоже, «будёновка». У нас дома такая: надета почему-то на штатетник забора. Да и кубанка, и «сталинка» дома есть.

«Будёновка» была настоящая, а не бутафорско-костюмная, с гражданской войны сохранившаяся каким-то образом. Возможно валялась на чердаке у бывших хозяев, у которых мы купили хату. У отца её быть не могло: он — казак, у него — кубанка. Опять-таки — правдишная, а не такая, какие сейчас показывают в фильмах или носит Кубанский казачий хор. У отца была кубанка, похожая на перевернутую усечённую пирамиду или на гармошку с чуть-чуть развёрнутыми мехами. Мех кубанки был курчавым, вроде каракуля, верх — из малинового сукна с серебряным, крест на крест, позументом. После войны он почти не носил кубанку. Для «мирной» жизни у него была «сталинка», защитного «гимнастёрочного» цвета. Внутри фуражки — стальной ободок для поддержания круглой формы. Многие, очень многие мужчины носили такие фуражки. А для детей были популярны тубетейки.

Вихрь за последним вагоном схватывает на мне хэбэшные рубашку и брюки. Брюки носились долго, латались, пока из них ни вырастали. Одежду из дорогих (относительно) тканей — костюмы, пальто — перелицовывали и тем продляли жизнь вещи. Перелицевать — это как бы вывернуть ткань наизнанку: внутренняя сторона становилась внешней. Рубашки же часто передавались младшим в семье. К пятидесятому году, я хоть и оставался младшим в семье, но был уже крупнее среднего брата Толика, 1937 года рождения. И — майки. Майки были повсеместны и на любой возраст. Те самые майки, которые постсоветская молодёжь в 90-е годы презрительно назовёт «алкоголичками». Все майки были почему-то голубовато-линялого цвета.

А трусы были чёрными. Редко — из синего сатина. Плавок практически не было ни у кого. Пацаны летом, выходя из воды, скатывали ладонями края трусов в рулончик, вдоль бёдер в направлении пояса. Получался треугольник плавок. Так и загорали.

Бедно жили, бедно. Но в начале 50-х уже и у нас на «нахаловке» некоторые дети носили серые хэбэшные пиджачки и даже — вельветовые. Но и те и другие — без подкладки.

Летом мы ходили босиком, а в гости или на «официальные приёмы» и в школу надевали сандалии на босу ногу или чупяки. Мужчины и парни носили хромовые сапоги. Это был — шик. На свадебной фотографии рядом с сестрой Тamarой её избранник, Николай Сидоренко: серый костюм (ого!) с белым искусственным цветком на лацкане, штанины широких брюк заправлены с напуском в хромовые сапоги. Голенища сапог сдвинуты вниз «гармошкой». Такие сапоги — только «на выход». Для работы — кирзовые или яловые, а хромовые — для праздника и зависти. Носили ещё (редко) и парусиновые сапоги, лёгкие, летние. Ну, это уж совсем излишество! Такие сапоги мог носить тот, кто ходил с портфелем — начальник или чиновник (что, по сути, одно и то же). Эти редкие на «нахаловке» люди носили ещё и парусиновые туфли. Туфли они натирали мелом, отчего те становились белыми, «богатými».

Я спускаюсь с насыпи на 19-й линии, подхожу к угловому дому:

— Здрасьте!

Женщина выпрямляется, ставит над глазами ладошку козырьком, смотрит на меня:

— Здравствуй, сынок.

Мы с ней старые знакомые, с 1947 года, когда я пробовал продать ей доски.

Женщина поправляет косынку на голове и снова наклоняется к грядкам.

Косынки. Их носили женщины, девушки — редко, только из соображений гигиены: от пыли и грязи. Как изобретательны были женщины в повязывании этого куса материи! Если завязать косынку на один слабый узел под подбородком, то она поднимется надо лбом (челом) шалашиком и в ней не будет жарко. Если же узел затянуть потуже и края косынки на висках заправить внутрь, то «шалашик» расправится и туго охватит лоб, впитывая пот и предохраняя женское лицо от загара и грязи. А ещё завязывали концы косынки на затылке

под третьим широким концом или над ним, на манер банданы. А то соберут красивую яркую косынку вокруг головы жгутиком, а концы кокетливо завяжут впереди, над челом. Или опустят косынку на плечи, как шарфик. Женщина есть женщина. И редко они ходили на «нахаловке» «распокрытыми».

Вот слово-то интересное, местное, кубанское.

Приставка «рас-» придаёт действию значение распространения, расширения, раскрываемости: копать — раскопать, ковать — расковать, ставить — расставить, крыть — раскрыть. И вот тут со словом «распокрытая» возникает нюанс. Распокрытая — значит без косынки, без платка. А в косынке, в платке — «покрытая»? Звучит как-то... Земля может быть ПОКРЫТОЙ, снегом, например. А женщина «покрытая» — звучит двусмысленно. Так же, как и «непокрытая». Этимологически и, скажем так, генетически слово это восходит по всей вероятности к покрову Богоматери. И народ деликатно придумал такую форму слова: «распокрытая». То есть — непокрытая. Но двусмысленность при этом исчезает.

Зимы на Кубани похожи на позднюю уральскую осень (по крайней мере были такими): со снегом, потеплениями и похолоданиями. Женщины после войны зимой в Армавире носили шерстяные платки с бахромой, фуфайки и какие-то плюшевые куртки. А на ногах у многих НОГОВИЦЫ. Есть рукавицы, а есть и ноговицы — одежда для ног. По форме — это валенки. Но лёгкие. Каждая ноговица состоит из двух стёганных (прошитых) одинаковых половинок по форме и по размеру ноги. Эти заготовки похожи на двойной бутерброд: плотная ткань — вата — ткань подкладочная, внутренняя. Половинки сшиваются, выворачиваются, как чулок — всё, надевай. Левых, правых ноговиц нет, разделения на «мужские» и «женские» тоже не существует. Ноговицы ещё называли почему-то «бурками». И носили их обязательно с галошами.

Кстати, о галошах.

Вон мы с Васькой Завалюевым на фотографии стоим в галошах и фуфайках: он в чёрной, я, помню, в зелёной. 1 января 1956 года. 20-я линия, где сейчас разворачиваются автобусы и маршрутки. Снега нет, грязь. Галоши носили самостоятельно, как обувь, с ноговицами, а ещё надевали на туфли или ботинки, чтобы не испачкать их грязью. При входе в помещение галоши снимали и ходили в чистой обуви.

До того времени, когда галоши на ботинках канут в Лету, а место, где мы с Васькой стоим, заасфальтируют, ещё жить да

жить. А калитка моя — вот она. Я берусь за тяжёлое металлическое кольцо, поднимаю щеколду и ветер, которого только что не было, толкает меня в спину и распахивает настужь калитку: «Заходи, хозяин!» А сам взмывает вверх: в выси и дали.

Ветры сквозят сквозь пространство и время и сшивают их в единое, целое полотно, название которому — жизнь.

И какой такой идиот
Для России кроил уборы?
Если это и был Диор,
Он заряжен был на раздоры.

Что ни шлем — то сабля и кровь.
И папаха с кровью сроднилась.
И отметила пуля бровь
Головы, что тулью носила.

Сколько жизней в землю легло,
Поросло травой и хмелем?
Только нам это не помогло:
Мы в бескровную жизнь не верим.

Свою голову я обнажу,
Грудь прикрою рубахой стираной
И врагу своему скажу:
«Поживём, попробуем, мирно»

Вот такое кино

Поразило и запомнилось не изображение, а стена и на ней белая простыня. Даже фактура стены помнилась: сквозь грязноватую побелку проступали бугорки и солома замеса, которым «щекатурили» торцевую стенку какого-то хозяйственного сарая. И на этой замызганной стене — белая простыня, повешенная на вбитые гвозди.

Лето. Вечер. Под кронами акаций сидит на земле народ и смотрит кино. Это был, пожалуй, 1946 год. А может быть, даже и сорок пятый. Что смотрели — не помню: может быть, «Чапаева», а может, и «Александра Невского».

Мама говорила, что при рождении она назвала меня Мишей. А потом посмотрела кинофильм «Александр Невский» и переназвала меня. Так что фильм этот с Черкасовым в главной

роли — для меня «судьбоносный». А Миша Мишутин на свет всё-таки появился, позднее, где-то в октябре 1957 года, как родной племянник.

После 1947 года кинофильмы в Армавире мы смотрели уже в стационарных кинотеатрах. Я помню три из них, не считая клуба мясокомбината: «Октябрь», «Пионер» и «Энтузиаст». «Октябрь» находился в здании, в котором сейчас находится «Марс», на месте «Пионера» — теперь драмтеатр, а «Энтузиаст», как и положено энтузиасту, находился на отшибе от центра города: на улице Урицкого, напротив сегодняшней бани («Радуга?»).

По всей вероятности в кино мы ходили чаще всего в клуб мясокомбината: и ближе, и место обжитое, да и билеты, наверно, были дешевле. Но просмотр фильма «Падение Берлина» я запомнил в кинотеатре «Пионер». У нас с братом Толиком не было билетов, и нас в зал не пустили. Мы просились, плакали, но билетёрша была непреклонна. Кино началось, дверь, выходящую во внутренний дворик (под аркой), закрыли и мы с Толиком стали таскать под вентиляционное отверстие в стене разный строительный мусор со двора. Собрали, влезли на эту кучу, но до вентилятора всё равно не доставали. Тогда брат сел мне на шею и стал смотреть фильм. Затем я сидел у него на шее, затем снова он у меня... Звука кинофильма не было слышно из-за шумевшего вентилятора, экран был виден только наполовину: глубже голову засунуть мы боялись. Фильм мы не досмотрели: устали, две серии всё-таки. Потом, после мы насладились в клубе мясокомбината. На какое-то время нашим кумиром стал Саша Синцов в исполнении Бориса Андреева. И мы играли в войну, употребляя слова и выражения из этого фильма: «контрнаступление», «направление главного удара», «линия обороны», «окоп».

— Здесь моя линия обороны!

— Нет, моя!

— У тебя — не здесь!

— Здесь! У меня тут — направление главного удара!

Мы кричали во всё горло. Нам казалось, что тот, кто громче кричит, тот и «правее».

Где-то в это же время на экраны вышел фильм «Кубанские казаки». Фильм-легенда. Фильм, который пленил всех от мала до велика и на долгие годы. Фильм-ложь, фильм-сказка. Действительно: такого изобилия не было; таких колхозов не было; такой женской одежды не было. НО, ВЕДЬ ХОТЕ-

ЛОСЬ, ЧТОБ БЫЛО! Ах, как хотелось! Душа человеческая завяла и смялась без света и радости и теперь вот возжаждала праздника. И фильм — праздник появился. Фразы из фильма и строки из песен разошлись в народе, как пряная приправа к несладкой жизни.

Так, как говорят между собой герои фильма, в народе вряд ли говорили; лексика куплетов из фильма — манерна и литературна (кроме частушек). Всё — псевдонародно. Но ведь всё ушло в народ! Вот ведь в чём штука! В этом феномене обнаруживается поразительное обаяние талантливой литературы, фантастическое чутьё художников.

А песни?! «Урожайная», куплеты, частушки... «Каким ты был» поселилась в сердцах буферной зоной между войной и миром, между бедой и счастьем. А «Ой, цветёт калина» поётся до сих пор, как народная. Эти песни пел даже хромым на язык Ваню Сидоренко. И естественно, что хорошие песни переделывались и пародировались. Так на мелодию песни «Ой, цветёт калина» пели куплеты о колорадском жуке (вот когда он появился, паразит!):

Он живёт, не знает
Ничего о том,
Что Трофим Лысенко
Думает о нём.

О Трофиме Лысенко мне сказать нечего, и так все знают: вульгарный селекционер, агроном всяя Руси.

Наверно до середины 50-х годов ни один фильм не мог сравниться по популярности с «Кубанскими казаками». Даже индийский «Бродяга» и трофейный «Тарзан». Но о них потом, как-нибудь отдельно.

...А сейчас мать собирается в кино с Толиком: на брате белая рубашка, брюки, сандалии. А я — реву. Я тоже хочу в кино.

— В следующий раз пойдёшь ты, — говорит мама.

— Я тоже хочу!

Я действительно не понимал, почему — Толик, а не я: я младший, меня жалеть надо. А можно и двоих сразу взять. Я плакал, но у мамы была своя арифметика: СВОЙ — подождёт, а вот «Хвединого» сына обижать нельзя. Этот перекося замечали и знакомые мамы, упрекали:

— Наташ, и тебе не жалко Шурика?

— Жалко у пчёлки.

И продолжала упорствовать: лучший кусок — Толику, одежду — сначала ему, вот и в кино — он первый.

Мать дорожила Фёдором Ивановичем, ладом в семье — это было — главное. Не дай бог, если кто-то подумает, что она «всё для своих, а Фединых детей обижает». Я чувствовал это и жаждал справедливости. А она хотела быть матерью для чужих детей, а не мачехой. Родные — не назовут мачехой.

Мать с Толиком выходит на улицу, а я остаюсь. Не знаю почему больше никого из семьи не было дома. Меня бы держали, не пускали... А вот, поди ж ты! Я вышел следом за матерью и преследовал их с Толиком на дистанции в шагов двадцать.

— Иди домой, — злилась мать.

Я останавливался. А затем упрямо и молча продолжал преследовать. Пока прошли один квартал, до домика Анны Николаевны, мать раза три-четыре делала попытку вернуть меня домой.

Не получилось.

Возвратились все. «Кинщик заболел».

И снова была великая трёпка.

Так я будущий «клубный работник высшей квалификации» (так в дипломе записано) получил первую прививку от патологической тяги к искусству.

А она у нас с Толиком была. Тяга.

Так как клуб мясокомбината ассоциировался у нас с высшим духовным наслаждением, то Толик жёлтой масляной краской накарябал на двери нашего туалета в огороде: «Клуб».

На саманной стене небеленой
Простыня, смущаясь, висит:
На ней жизнь Маруси недельная,
На ней с хахалем она спит.

И связь эта давно не тайная:
Пять лет вдовая и с детьми.
...А на той простыне отчаянной
Проступает лицо из тьмы.

А на той простыне безжалостно
Умирает её родной.
И толпа стремится разжаловать
Ту, кто верной была женой.

А она сама уже мёртвая,
А она — белей простыни
И душой, до мозолей стёртою,
Просит милого: «Постони!

Поживи, любимый, помучайся!
Умирать, конечно, легко...
Уже дети большие: учатся,
А ты всё от нас далеко».

...На саманной стене небеленой,
На земле, у серой стены
Беспощадная и расстрельная
Продолжается драма войны.

Двор и дворё

К началу 50-х жизнь вошла в колею: и в стране, и в родне, и в семье. Голеницкие растили Веру, Мацепура обожал и холил свою единственную Надежду, а младший из братьев Котляровых Николай обрёл Любовь. Он вернулся на родину из кемеровских лагерей, нашёл свою дочь Аллу (довоенного посева) и сошёлся с Ниной Бибиковой, у которой тоже была дочь по имени Люба. И стали они жить здесь же, на улице Ленина, между 19-й и 20-й линией.

Вот они дворы родни и знакомых: Аникины, Дзюба, Бибикина, Додокины... Хата тёть Нины Бибиковой стояла почти напротив хаты дядь Жоры Котлярова. У дядь Жоры тоже всё утряслось: оставил семью, женился на молоденькой Катерине и уехал на шахты Донбасса.

И у нас дома жизнь наладилась, даже скотина появилась. «Скотиной» в доме называлась всякая живность. А мать иногда называла: дворё. Вот приходит отец с работы и делает обход хозяйства: смотрит, кормит, прибирает. «Сначала скотину накорми, а потом сам садись за стол», — говорил он. Кошка, собака, куры и даже, по-моему, кабанчик был. Нет, не кабанчик — корова. Корова появилась, потому что — вспомнил — и каша на молоке была, и молоко на подоконнике в глечиках (кувшинах), и как я продавал это молоко.

Мать вручала мне четверть молока (трёхлитровую бутылку) и поллитровую банку. Банка служила мерой. И я ходил по дворам с предложением: «Купите молока». Почему мать именно

мне поручала эту ответственную коммерческую операцию, не знаю: может быть, вспоминала мою историю с «тридцаткой» и досками, а может потому, что я лучше Толика и быстрее считал в уме, может быть, ещё почему — не знаю. Обычно я шёл продавать молоко на улицу III интернационала. Начинал с 19-й линии и к 13-й линии продавал всё молоко.

Молоко — это жизнь. Это и еда, и лакомство, и лекарство. Холодное, из погреба вечернее молоко, да ещё с жирностью более 4% — пробовали? А холодный кисляк в жару? (Кисляк — это простокваша, прокисшее молоко). А кто помнит вкус настоящего КИСЛОГО МОЛОКА, сделанного на Кубани? Нет, это не ряженка и не кефир; таких названий на Кубани и слыхом не слыживали тогда. КИСЛОЕ МОЛОКО — это особым способом (через закваску) заквашенное топлёное молоко с тёмно-жёлтой, будто поджаренной пенкой. Если вы этого не ели, то, как говорят где-то в одессах — вы ничего не ели. А уж о лечебных возможностях молока и говорить не буду: все знают.

Молоко... А сметанка? Густая, ложка стоит. Перед войной и масло сами сбивали. Мать рассказывала. «Коля (мой старший брат) сбивает масло, устал. А Гришка (дядька мой) ему говорит: «Ты переложил сметану в графин, заткни кочаном и привяжи к ноге. Будешь бегать и масло сбивать». Греховодник. А если б правда?»

Так вот. Стал кто-то сметану в глечиках снимать. Кувшины стоят на подоконнике, молоко в них отстаивается, «сметанится». И видно как аккуратно снята сметана.

— Вы? — спрашивает нас мать

Мы с Толиком отрицательно машем головами.

Раз — не мы, другой раз, третий... Ну, кто же тогда? На четвёртый раз вор попался: наш кот. Но убежал. Нам с Толиком — полная реабилитация, а коту объявлена война: бескомпромиссная, не на жизнь, а на смерть. И стоило только вору появиться на вражеской территории, как он тут же был захвачен матерью в плен.

— На, Хведя, — сказала она, — убей его.

— Как? — спросил отец.

— Ну, ты казак или кто?

Задела мать его за живое, задела.

Вышел Фёдор Иванович во двор, взял орущего кота за хвост, раскрутил над головой, да и бросил его супостата оземь. Кот мявкнул, приземлившись на четыре лапы, и... убежал.

И долго его никто не видел. Но стали пропадать цыплята. Мать — к сестре, к Мащепурихе:

— Марусь! Цыплята мои к тебе не залазили?

— Ни. А шо?

— Пропадают.

— Так можа кот чей?

— Та не! Наш. Я и Хведе говорю — наш! А он и ба́й дуже.

Убивец.

И уходит, ворча:

— Не двор, а сплошное дворьё.

Но — сколько верёвочке ни виться, не всё коту масленица и т. д. — поймали кота. Мать взяла в одну руку передние лапы кота, а в другую — задние, подошла к абрикосе — хрясь! — головой о ствол и бросила на землю:

— Больше не будет бегать.

Ужас! Сколько гнева ненужного. Она вела с котом ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ ВОЙНУ, и он был — враг. Жестоко? Конечно. Но тому есть причины.

Ну, вот сбесился у нас щенок (Туманом звали) и что? Делать что? Тут дети, животные, птица... Вот то-то же.

А собака в доме нужна. После того, как в 47-м меня напугал мужик, у нас во дворе собака была постоянно. Вон, сейчас у нас Ветерок: большая рыжая дворняга, ласковая к своим и злая к чужим. Отец всё в рот щенку заглядывал: если пасть чёрная, значит, злым будет. Днём Ветерок бегаёт на цепи, которая нанизана на проволоку. Проволока лежит на земле, по диагонали двора от ворот до сарая. Концы проволоки закреплены штырями в землю. Ночью с Ветерка снимали ошейник, и он носился по всему плану: по двору и по огороду.

Сейчас — день-деньской, лето. Мы сидим с Толиком у сарая, лениво жуём груши. Рядом лежит Ветерок. Спит. Я наклоняюсь за какой-то камышинкой, лежащей возле морды Ветерка. Тот неожиданно взмывает, я пугаюсь, псина прокусывает мне руку над запястьем. Что собаке снилось — неизвестно, но пёс понял свою оплошность и заскулил, завилал хвостом — стал извиняться.

Вот его не наказывали, в отличие от кота.

В той прошлой, жёсткой жизни и жестокость воспринималась по-другому: естественно, обыкновенно.

Как-то замучили нас крысы: по двору ходят, как скотина. Не бегают, а ходят, зараза. Ничего не боятся. Тогда отец пой-

мал в капкан крысу, облил её керосином, поджёг и запустил в нору. На какое-то время крысы исчезли.

...Сыну моему было три года, и мы приехали к бабушке в отпуск в Армавир. Но петух бабушкин невзлюбил внука. Только тот с крыльца во двор — петух тут как тут. Андрей — убежать. Петух догоняет и давай клевать внука в то место, куда обычно его жареный собрат клюёт нерадивых. Пацан — в рёв. Бабушка поймала зарвавшегося кочета, взяла топор — хрясь! — и нет головы у петуха.

— Ят те поклюю внука! — объяснила бабушка причину казни.

Будет тут дворёе всякое...

На листочке — божья коровка.
За рекою — Малинка наша.
А пацан, от солнца безбровый,
На своём огороде «пашет».

Во дворе — Ветерок дворняжий,
Он — гроза для кур и для кошек.
Если он не дремлет, то княжит
И рычит на чужих прохожих.

А мальчишка сделает дело,
Ляжет в тень бузины пахучей.
И июльское солнце спелое
Полнит светом его по лучику.

Улица моя

Ленина. Она такая же, как и её окраинные подруги. Вот они спускаются от железной дороги к Урупу и Кубани: III интернационала, Будённого, Ленина, Красноармейская, Октябрьская и Садовая. Их «сшивают» линии. Некоторые линии «сшивают» три, а то даже и две улицы (21, 17, 16, 14, 12 и др.) Это — улочки-переулочки. А вот 18, 15, 13, 11, 9 линии — поперёк всей «нахаловки», как шов на фуфайке: от воротника до полы.

В 2010 году встречался со студентами в Армавире. Говорю им: «Я — с “нахаловки”». Не все понимают. Стали уточнять. И те из студентов, кто и сейчас живёт на «нахаловке», обра-

довались, как земляку: «Так вы на ЛИНИЯХ жили?!» Теперь так называют «нахаловку» моего детства.

На улице моей — хаты и дома. Но дома не в сегодняшнем понимании — особняки — а те же хаты по площади, но на фундаменте и с деревянными полами. И только у Лисковых, на углу 19-й линии, да у Ланцовых, на углу 18-й линии, дома были кирпичными под черепичной крышей. Остальные хаты крыты камышом и дранкой, а то и чёрт знает чем, как у Пузинов. Единственное в нашем квартале жилище, крытое железом — у «прокурорши», рядом с Мацепурой. Почему — «прокурорша»? А кто зна, как говорят у нас на Кубани. Не знаю. «Прокурорша» — и всё. У простых людей не может быть железной крыши. У простых людей — камыш.

А его за Кубанью — полно. Заготавливали его серпами, вязали в снопы, снопы связывали в плоты и переправляли их на левый берег Кубани. Здесь камыш грузили на брички и везли через урупский мост на «нахаловку», или же перетаскивали через лес, Уруп — а вот и «нахаловка: «под старым» или у гончарки. Хорошо, мастерски настеленная крыша из камыша могла прослужить 30—40 лет. Строились многие, и камыша требовалось много. Заготовкой его занимались молодые парни и мужики.

А вот заготовкой извести для новых и старых хат занимался дядька Колька Мацепура. И тут он был монополистом. На своей бричке, запряженной седым ишачком, он возил из-за Кубани известковый камень. Каменоломня, место добычи известняка, находилась на одной линии, так сказать, с 19-й линией, но... за Кубанью. По прямой линии (прошу прощенья за назойливую тавтологию) километров пять. Но по прямой — Уруп, лес, Кубань, снова лес, «кутан», горы — дороги нет. И вот тащится с утра Мацепура от 19-й линии — до моста через Кубань в Старую станицу, затем по горам до каменоломни. Надо сказать, что «горами» в Армавире до сих пор называют Ставропольское плато по правому берегу Кубани. А «кутаном» — хутор, сельцо у подножия плато.

Общим путь для ишака — неблизкий. А ведь ещё — обратный путь! Сам Мацепура, похоже, камень не пережигал, а сдавал его кому-то на обжиг (может быть — даже у нас здесь, на гончарке), потому что ишак подвозил бричку к воротам дома пустой. Ну, если не считать лежащего в бричке пьяного дядьку Кольку. Ишачок хорошо знал привычки хозяина и по дороге от центра домой останавливался возле каждой пивной.

Если Мацепура был уже пьян и не вылезал из брички, то ишак стоял пять минут и двигался дальше.

За камень хорошо платили, и деньги у Мацепуры были. Но когда в 1947 году, во время денежной реформы, дядька Колька собрался обменять старые дензнаки на новые, то оказалось, что в спрятанных пачках мыши свили себе гнёзда. И купюры, соответственно, погрызли. Мацепура поколотил жену (тётъ Марусю), чтоб «ловила мышей», отхлестал кнутом безответного ишачка, напился и стал снова копить «заначку».

По улице моей — жиденские заборы, плетни, а то и совсем открытые дворы, как у Сидоренкиных. Но таких — мало. Между дорогой и плетнями — маленькие огороды: картошка, бурак, зелень. А из деревьев — акация (никто её, акацию, никогда не называл белой, потому что жёлтой, кустистой тут и в помине не было; а гледичию называли КОЛЮЧЕЙ акцией, потому что она и была колючей с ветвистыми колючками до 20 см в длину), вишня, абрикосы.

По весне улица цветёт: глянешь вдоль — далеко, до самой 9-й линии цветущие вишни и абрикосы. Позднее, в мае, зацветёт акация и мы, ребяташки, будем лакомиться «кашкой»: белые кисти акации сладкие, цветёт акация долго и густо — «рясно» говорят на Кубани.

В своё время по распоряжению Армавирского горсовета на протяжении улицы Ленина от первой линии до конца вдоль дороги высадили пирамидальные тополя. Но саженцев хватило, по всей вероятности, только до 15-й линии. Потому и цветущую по весне улицу видно только до 9-й линии: тополя перекрывают перспективу.

На улице моей между плетнями и хатами — палисадники. И в них — только цветы. Никто не использовал эту землю под огород. Даже странно. Земля на Кубани — плодородная, каждый квадратный метр дорог, а вот, поди ж ты: цветы. Праздника хотелось людям, радости. А цветы — каких только не было: зорька, красёля, ночная фиалка, петушки (ирис), майорчики (бархатцы), даже розы и вездесущая сирень. А кое-где и жасмин. Откуда брали эту красоту? Где она хранилась до поры, до времени? Чудо! А какие запахи!

Это сейчас, вспоминая, я восхищаюсь, а тогда — это была обычная среда обитания. Хорошая среда. Мы, дети, были естественными цветами этих палисадников и улиц. И были мы — разными. Непохожесть обращала на себя внимание. Вон братья «пүзины» (это — не фамилия, прозвище: «пүзин») хо-

дят с огромными животами, когда мы все — худые, как доски. Даже горбатые привычнее «пузинов». Откуда нам было знать о такой болезни, как рахит? Или Ланцова Светка. Всегда — с пацанами. Говорила: «Я всё равно у кого-нибудь отрежу и... пришью себе. Девчонкой я не буду». Жуть! Тогда впервые я услышал песню со словами:

Звенит звонок насчёт проверки:
Ланцов с-под зámка убежал...

Про них, Ланцовых, и песня уже... И зámок какой-то...

А летними вечерами, перед закатом солнца по моей улице возвращалось с пастбища «нахаловское» стадо коров. По мере прогона коров к 15-й линии всех коров разбирали по дворам хозяева.

Пас коров Максим. Подросткового роста и комплекции мужик, заросший чёрной бородой. Было Максиму лет 40—45. Одет он был в серые шаровары и такую же рубашу; обладал лёгким характером и быстрыми ногами. Не знаю почему, но его все мальчишки дразнили. Они сопровождали стадо от самого Урупа, им родители поручали встречать коров и загонять во двор. Пыль за стадом золотится в лучах заходящего солнца и медленно оседает.

— Малинка! Малинка! — зазывает корову хозяйка с ку-сочком хлеба в руке.

— Жданка! Иди сюда! Иди, красавица!

— Марта! Марта!

Максим «стреляет» кнутом с махорчиками и будто включает травлю:

— Максим! Сколько денег навозил?

Максим Молчит, но от 20-й линии до 18-й его дразнят непрерывно. Пастух и шугает мальчишек, бросаясь в их сторону (и догнал бы, но не делает этого), и кнутом «стреляет» и, наконец, не выдерживает:

— Сколько у твоей мамки на (та-та) волосин!

Вот этого от него и ждали

Вечереет. На 20-й линии раздаются девичьи голоса:

Скакал казак через долину...

Начинается вечерняя жизнь улицы.

По Будённого, да по Ленина
До калитки дорогой длинною
Ишачишка топаёт медленно
До своей, до двадцатой линии.

Ну а в бричке, белой от извести,
Маце́пура губами шлёпает.
Вот такую породу вывести -
Слабо́ Дарвину вместе с Европою.

В синих «га́ли» он от милиции,
Сапоги бликуют бутылками.
И бликует тотальная лысина
От бровей до костей затылочных.

Он ишачит, везя известковый
Камень беленький из-за Кубани.
Он в почёте у участкового
И у самой последней рвани.

...По пивнушкам, дорогой длинною,
До ворóт на улице Ленина
Ослик тащит ярыгу пыльного
Маце́пуру, времени пленника.

Нахаловский вокал

С какого перепуга и на кой ляд запомнился мне текст этой песни:

О чём, товарищ, думаешь,
Поникнувши челом?
Какая дума горькая
И тяжкая, о чём?

Песня была из радиоспектакля о революционных и контрреволюционных событиях в Архангельске на острове Мудьюг(?) и исполнялась на мотив песни «На муромской дорожке». Году в 55-ом у нас в доме появился радиоприёмник «Звезда-54» красного цвета, красивый, как гусар, одетый в ментик. Вот через этот приёмник и транслировалась «архангельская» музыкальная макулатура.

Вот зачем она, покрытая паутиной, висит в моей памяти? Не знаю. В моей памяти — и другое множество песен, и каждая занимает свою нишу или, вернее, соту. Пусть. Ведь они каким-то образом формировали меня эмоционально, и я нет-нет, да и полакомлюсь той или иной песней из прошлого и вызову те или иные ассоциации.

О маминых песнях я уже говорил, но вот ещё одна её песня. Из советских. Любимая. «На закате ходит парень». Это может быть единственная светлая из её песен.

На закате ходит парень
Возле дома моего.
Поморгает мне глазами
И не скажет ничего.
И кто его знает,
Чего он моргает...

Довоенная. Какие ассоциации вызывала эта песня в душе у матери, на каких эмоциях заквашена — мне неизвестно. Но вот легла на душу — и всё.

Отец, Фёдор Иванович, редко пел; он, по-моему, и текстов песен не знал. А вот эту я слышал, несколько раз он её начинал:

Ой, вы, братцы, вы, кубанцы,
Вспомним 21-е сентября,
Как дрались мы с германцем
От рассвета допоздна.

По всей вероятности — старинная казачья песня. Такая же, как и «Ой, на горе та й женцы жнуть». Но эту пели чаще и за столом: она была общей. А «Ой, вы, братцы, вы, кубанцы» — она больше личная, отцовская, подобно тому, как у матери — «На закате ходит парень».

Личная, любимая песня была и у дядь Гриши Кендюха. Он знал превеликое множество песен, воистину, но эту пел с особым чувством и глубокой печалью:

Бежал бродяга с Сахалина
Звериной узкою тропой...
...Оставил мать свою, старушку,
Детей, любимую жену...

Какая личная драма генерировала эту печаль, не знаю; то ли разлад в семье и неудачные поиски последней любви, то ли ещё что — знали только бог и печальник: в этом вопросе дядь Гриша был скрытен.

У братьев Котляровых была только одна сестра: Клавдия, Клавдия Ивановна Зуева. От довоенного мужа остались Володя (старший) да Лида. Жили они на углу 18-й линии и III интернационала, рядом с Белашовыми.

Послевоенный муж Клавдии Ивановны закончил войну в Кёнигсберге и появился на «нахаловке» году в 47-м. Он был каким-то начальником с крупным телом и лысой головой в шляпе. Звали его Пётр Прокопьевич. И никто из Котляровых (даже тёть Клава!) не называли его по имени, только по имени-отчеству. А так как в народе генетически не любят начальство, да плюс к тому же имя-отчество трудно выговариваемое, то родня звала его иронично: ПЁРТ Прокопьевич.

— А ну-ка давай, Пёрт Прокопьевич, «Дожжик»!. — говорил кто-нибудь за столом.

Пётр Прокопьевич улыбался (реагировал на «Пёрт»), закрывал глаза, серьёзnel и через паузу с натугой выдавал:

Бры-ыжет до-ожжык...

Это была его любимая песня.

А улица пела другое. Молодёжь на улице пела другие песни.

На углу сто́ит аптека,
Дружно: «Га-га!»
Задавило человека,
Дружно: «Га-га!»
Человек лежит не дышит,
Только... «я...годой» колышет...

Вот такой рэп с рефреном по поводу хрена. И, конечно, классика блатняка — «Гоп со смыком». Или же:

Вот зашли мы в ресторан,
Топай, топай!
Гаврила — в рыло, я — в карман
Кверху жопой.

Блатными были песни, которые сегодня проходят как городской шансон: «Ванинский порт», «А в тюрьме сидят жульманы», это та песня, в которой есть слова:

Ты напейся воды холодной —
Про любовь забудешь...

Даже на «Брызги шампанского» был придуман «блатной» текст.

Новый год, порядки новые
Ключей ПРОВОЛКОЙ окутана тюрьма...

Матершинные песни пели, говоря языком милицейского протокола, «с особым цинизмом» и некоторой отвагой:

Лежу я в больнице, гляжу в потолок,
А доктор на блюде мой х... поволок.
Алюра — опа!
Америка-Европа!
А доктор на блюде мой х... поволок!

Узнай родители о вокальных занятиях чад, врезали бы безо всяких сантиментов

Пели песни (и переписывали в альбомы) и романтического склада («В нашу гавань заходили корабли»), и сентиментально-блатные («И у них была дочка Ларочка, наступил ей 16-й год»).

Блатные песни ни коим образом не конкурировали с песнями «Скакал казак через долину» или «Виновата ли я». Правда, эти песни пелись только девушками, но всё равно они не мешали друг другу. Просто это были разные направления, и душа не сопротивлялась этому симбиозу. По крайней мере моя душа.

Мне очень нравилась одна из песен, исполняемая девушками на 19-й линии:

Мы были счастливы,
Наслаждаясь поцелуями,
И вдыхая аромат цветов
Под серебряной луной.

Они пели её так страстно и самозабвенно, что в душе возникала какая-то мятная прохлада и вопиющая пустота. Душа сиротела и одновременно плакала и радовалась. Не знаю почему. Но так было. Было просто здорово! При включённом воображении даже голова кружилась от этих слов. Они были просты и пронзительны, как «Очаровательные глазки»

Откуда берутся такие песни?

Ещё одну подобную песню я слышал в 80-е годы от участниц хора Дворца культуры Челябинского тракторного завода: «Ой-ё-ёй! А я девчёночка красивая...» И исполнялась она так же, как на 19-й линии: с полной отдачей, страстно и самозабвенно.

— Почему в хоре я ни разу не слышал эту песню? — спрашиваю.

— Да вы что! Такую нельзя! — отвечают певицы.

Похоже, что для народа такие песни более глубоки и интимны, чем кажутся на первый взгляд. Они — словно «Заветные сказки» Афанасьева.

И ещё об одной песне хотелось сказать: «Сиреневый туман»

Первый раз я услышал её в 1954 году. И была она из ряда блатных романтических песен. А Александр Любимов во «Взгляде», благодаря талантливейшему видеоряду, сделал эту песню чуть ли ни протестным символом эпохи сталинского безвременья. Опасны такие смещения акцентов. Эти смещения привели, в конце концов, к тому, что М. Круг поёт на всю страну песню, посвящённую вору в законе: «Владимирский централ, ветер северный».

«Нахаловка» была в курсе появления новых песен из кинофильмов, потому с удовольствием пела и «На крыльчке твоём» и «Вот цветёт калина».

Любопытно, что были песни, которые не пелись, а переписывались в альбомы. Альбом — это толстая общая тетрадь и в ней от руки, чернилами записаны песни. Некоторые из песен иллюстрировались аппликациями из открыток. Такой альбом был и у моего брата Николая. Помню, там была песня о молодогвардейцах и называлась она «Это было в Краснодоне».

Это было в Краснодоне,
В грозном зареве войны:
Не сдавались комсомольцы —
Были Родине верны.

Начиналась так песня. А заканчивалась словами:

И сквозь дали вековые
Пронесём мы эту славу:
Благодарная Россия
И великий наш народ.

Я до сих пор помню мелодию этой песни. А вот как помещалась она в душе рядом с «Гоп со смычком» — не знаю. Наверно это — отражение разных ипостасей одной души.

Молва как бусы прошивает хаты,
И кто-то что-то прячет за карниз:
«Слыхали? Ваську проиграли в карты,
А он с моста прям головою вниз!»
Ах, «нахаловка» — подстрекаловка,
Как несправедливо ты живёшь:
Ни доноса, ни стука, ни жалобы —
Только песни орёшь.

На девятнадцатой пиликает двухрядка.
Танцует зрелополовой народ.
И гармонист играет в беспорядке
Танго и вальсы, иногда фокстрот.
Ах, «нахаловка» — подстрекаловка,
Как неправильно ты поёшь:
Про жульё и Стеньку удалого.
Как поёшь ты — так и живёшь.

Тарантулы и гады

Зной, опаляющий всё зелёное и живое, бывает каждое лето на Кубани. Если такой зной стоит с мая до августа, то получается лето 1946 года и голод 1947. А сейчас — 1952-й. Мареву по линии горизонта: над землёю струится горячий воздух. Трава сохнет и превращается в сено, а стадо коров, которых мы пасём, задрал хвосты, бежит к Урупу. Там, зайдя в воду, коровы спасаются от зыков (оводов, по-кубански). Водопой и дойка коров в такие дни затягивается часа на три. А мы, пацаны, только рады этому: купайся — не хочу.

Вода в Урупе почти не бывает прозрачной: она серая, глинистая — мутная. Пацаны из воды выходят с «усами» и

«бородой»: илистая взвесь цепляется за каждый волосок. Но мы даже такую воду иногда пьём. Фильтруем через вдвое сложенную майку или через фуражку. Под палящим солнцем мы все становимся блондинами: волосы выгорают; мы — как из инкубатора.

На берегу мы играем в камешки и в ножичка. Пальцы левой руки ставятся куполом и вращаются. Правой рукой подбрасываешь вверх камешек и, пока он в воздухе, загоняешь в «ворота» между пальцами по одному камешку. Ловить камешек, который в воздухе, и снова его подбрасывать можно, а вот ронять нельзя. Выигрывает тот, кто быстрее загонит четыре камешка в «ворота». А ножичек нужно вогнать в землю стоя, с каждого пальца левой руки, с локтя, с плеча. Опять-таки — кто быстрее.

Расплата была щелбанами или ударами двух пальцев по руке выше запястья. Если место удара мочили (чаще — слюнявили), то удары назывались «горячими». Эти удары были очень болезненны.

А ещё мы играли в «латки» (в «башу») в воде. Тут я мог отличиться. К этому времени я уже хорошо плавал, а самое главное: дольше всех мог пробыть под водой, не добирая дыхания — более трёх минут. Замеряли.

В жару почему-то было много тарантулов. А я панически боялся и боюсь пауков и разной гадости гадючьего племени. Когда на моих глазах четырёхлетняя внучка фотографировалась с удавом на шее, я обмирал от ужаса.

Тарантулов мы звали шкрабами. В какую сторону ни пойдёшь, обязательно наткнёшься на нору шкрабика. Вот она: два сантиметра в диаметре глубокая вертикальная норка. Я не видел, чтобы пауки сами выползали из нор. Их выманивали: заливали норку водой или опускали в нору на ниточке шарик гудрона. Паук злился на вторжение, бросался на смолу, прилипал и его выгаскивали. Крупные, 3—4 см в длину, мохнатые серые пауки выглядели грозно. Да и фактически это не бабочки: кусаются, жалят. Разозлившись, они подпрыгивают и бросаются на людей. А Вовка Сидоренко запросто брал их в руки, играл ими и пугал нас. Его тарантулы почему-то не кусали.

От паука можно убежать, а от змеи, я полагал, не убежать. Мне казалось, что любая змея передвигается быстрее, чем я бегаю. Мало того, многие из нас были уверены, что у змеи есть ум и она может преследовать определённого обидчика

даже через какое-то время после встречи. Однажды мы, пацаны, на горах, на «кутане», увидели в каменной яме клубок гадюк. Буквально — клубок! Он шевелился и не распадался. Мы замерли. Затем, как по команде, бросились врассыпную. Но любопытство взяло верх, и мы снова, с осторожностью, подошли к яме. Змеи продолжали клубиться. Тогда кто-то из нас бросил в них камень, который держал для защиты. Клубок мгновенно распался. Мы с воплями, в животном страхе бросились бежать от ямы. Бежали не менее полукилометра, чтобы змеи нас не догнали и не нашли. Меня одно утешало: я камень не бросал.

Мы не знали тогда, что змеи, группируясь в клубок, снимают с себя старую шкуру.

Во время обеда, на водопое много рассказывалось разных историй, в том числе и о гадюках. Говорили, что один пацан уснул, а ему в рот заползла змея. Выманить её оттуда удалось только при помощи ягод земляники, положенных перед зеркалом у рта пацана. Гадюка якобы видит в зеркало ягоды и выползает, потому что любит землянику.

Мы знали, что уж умеет загибнуть лягушку. Если встретились глазами уж и лягушка, то лягушка обречена: сама припрыгает в пасть ужа. Говорили, что если попадёшь на такой случай, у тебя в руке будет палочка, и ты этой палочкой в последний момент предотвратишь гибель лягушки, то палочка у тебя в руках станет волшебной.

Зная об этом, я часто высматривал на болоте за «ставропольским» тоннелем (сейчас там сады, дачи) ужей, гипнотизирующих лягушек. И увидел однажды, как гадюка рождает. Она лежала в траве рядом с тропинкой, толстая и чёрная. Голову я не видел и думал, что это уж. Я был тих и недвижим: ждал крика загибнутой лягушки. Вдруг из чрева гадюки, из-под хвоста, стали выскакивать маленькие чёрные молнии. Они быстро, мгновенно растворялись в траве. О, жуткое чудо! Около десятка гадюшат выскочило, и я, не дожидаясь окончания родов, сбежал. Почему змеёныши убежали от матери? Боялись? Она их съедала?

И ещё одна картинка.

Начало 50-х, повальное увлечение мальчишек Тарзаном: имитация его воплей, лианизация всех деревьев, поломанные руки, ноги... Мы играем в «тарзана» в заброшенном колхозном (говорили: помещичьем) саду. Что значит играть в «тарзана» по-нашему, по-«нахаловски»? Это играть в «латки», в дого-

нялки, не касаясь земли: с ветки на ветку, с дерева на дерево. Могу заверить: занятие очень увлекательное и физически полезное.

Я стою на ветвях старой яблони с диаметром кроны в нижней части метров в пять. Только на одной ей можно было бы всем «тарзанить». Но яблоня стоит в центре непроходимых зарослей шиповника. Я и сам не знаю, как оказался на ней. И только было хотел спуститься вниз, как увидел... Свернувшись в два кольца, одна гадюка поглощала другую, меньшую. Спокойно, несуетно. Наши крики и мои прыжки на яблоне не мешали процессу её пищеварения. Это обстоятельство отвратило и пугало: она, змея, была здесь хозяйкой и не боялась никого и ничего.

Не помню, как я выбрался оттуда: меня знобило. Что за напасть?! Неделю назад я уже был в шоке от встречи со змеёю, и вот — снова.

Между «ставропольской» железнодорожной насыпью, перед тоннелем, и болотом были обширные заросли тёрна. Мы заметили, что туда много залетает птиц. Значит там — гнёзда. А где гнёзда, там яйца. А это для нас — лакомство. Я определил нахождение одного из гнёзд и пополз к нему между стволами тёрна: пройти в рост было невозможно. Пару раз поднимался, уточнял направление. И когда я в очередной раз стал поднимать голову, чтобы осмотреться, я увидел: гнездо — вот, передо мною. И параллельно тёмному стволу тёрна вверх поднимается ещё один — жёлто-зелёный. Это был желтопуз, по литературному — полоз. Голова его была в птичьем гнезде: он опередил меня и уже лакомился. И находился он не в метре-двух от меня, а вот, перед глазами, в 20 см от моего лица. Об этом звере я был слышан. От него невозможно убежать: желтопуз сворачивается в кольцо и несётся за тобою, как колесо. У него на хвосте вздувается эдакая шишка, которой он может перебить ноги даже корове, а не то что... С ним лучше не встречаться. Убегать от него нужно на солнце: желтопуз слепнет от него и теряется.

Как я выбрался задом наперёд, что я орал благим матом (а я орал) — не помню. Пацаны, все, сколько нас было, окружили терновник, взяли в руки палки камни; а у меня оказалась даже лопата. Мы стали бросать камни в место расположения гнезда: выгоняли желтопуза. И он выполз. В это трудно поверить, но он выполз прямо на меня. (Вот и не верь после этого, что змеи знают своих обидчиков.) Мало того: пополз

по моей ноге, холодный и отвратительный, как лягушка. Я от страха ткнул куда-то лопатой.

...Через два дня мы нашли в посадке колючей акации желтопуза. Решили, что нашли того самого, потому что хвост у него был рассечён.

...Зной не спадает, но мы выгоняем коров из речки: надо, чтобы они к вечеру наелись, нащипали травы. Мы обуваемся. Обуваемся обязательно, потому что много колючек и змей. У меня — сапоги. Они лежат в тени под кустом. Я надеваю правый сапог и только потянулся за левым, как из него выползла змея. Да что же это за лето такое?!

Никого из нас змея ещё не кусала, и мы не знали, что делать при укусе: вырезать ли укушенное место (да, так думали!), или отсасывать яд из ранки? Вот укуси меня сейчас змея, кто бы отсасывал? Кто решился бы взять смертельный яд в рот?

За наш смертельный испуг расплатилась гадюка из моего сапога по полной, за всех гадов: забили её камнями.

Не мешай людям жить и радоваться.

Светлое небо и синий простор,
Небо распахнуто за горизонты.
Всё впереди: и триумф и позор.
Жизни бояться нету резона.

Жизнь началась, биографии нет,
Нет хронологии воспоминаний.
Бескомпромиссности юной секрет
В недалёковидности, а не в познании.

Вечность за вами, для вас и о вас.
Вы продолжайте верить в бессмертье.
Жизни начало — это аванс.
Многие лета, многие лета...

Имени Семёна Михайловича

Меня до сих пор поражает упорство, с которым родители налаживали жизнь. В 1952-м году мы поселились на улице Будённого. Так же, как и по улице Ленина, наш дом находился на нечётной стороне улицы и так же был вторым от угла. Теперь между планом Сидоренкиных и нашим был общий забор.

Так в чём смысл переезда? Стоило ли менять шило на мыло? Стоило. Мы меняли статус.

Это был дом. На фундаменте, с деревянными полами, со ставнями на окнах и электричеством. И стоил этот статус денег. А вот откуда у родителей деньги? Ведь на нас они не экономили: накормлены и одеты мы были не хуже других. Какая там зарплата? Что вы?! Государство ещё и 3% займ принудительно «выворачивало» из полочки. (Так и говорили: «30 рублей вывернули на облигации»). Похоже, что родители от себя отрывали — еда, одежда, обувь — да родственники помогли. Предполагаю, что родители заняли денег на покупку дома у деда с бабушкой, да у братьев и сестёр, а потом несколько лет отдавали долги. Своих денег от продажи хаты на Ленина на приобретение нового дома не хватило бы.

Очень хотелось родителям выпрыгнуть из бедности. Одним махом. И похоже, что у них это получилось: к 1955 году во дворе была построена ещё и хата, времянка по-местному. Примерно такая, какая была у нас хата на улице Ленина. А постройки нашего нового двора выглядели так (от ворот, по часовой): времянка, кУрник, саж для свиньи, коровник (сарай), погреб, дом. Сколько сил было вложено! И чего это стоило? Но надо было. А как же! Все выросли: Шурику уже пятнадцать! Ну, Толика в 56-м в армию заберут, а Николай-то в 55-м вернётся из армии, женится — где жить будут? Вот то-то. Тут хоть круть-верть, хоть верть-круть, а строиться надо. А отец — всё в тех же кирзовых сапогах, да в фуражке-«сталинке» ходит.

Но расклад получился не совсем таким, на какой рассчитывали родители. К лету 1957 года они останутся одни: Толик будет в армии, Николай женится и уедет в Челябинск, я после окончания школы тоже уеду в Челябинск. Но всё это будет потом.

А сейчас родители устраивают быт и жизнь. В доме появляются радиоприёмник, патефон и... гармошка. Гармошка почему-то специально для меня. На что мать надеялась? Чего хотела для меня? Как-то дядь Гриша сказал в шутку, глядя на меня, сопливого: «Наташ! Сопливый — значит умный. Это лишнее сейчас из него выходит». По каким признакам мать заметила мою тягу к музыке — не знаю, я, по-моему, не проявлялся никак.

Слушая пластинки, я запомнил многие песни, большинство из которых — народные. И на гармошке я играл почти всё,

что мне нравилось из услышанного. Я легко подбирал мелодии на слух. Публично нигде не играл на гармошке. Только два раза, по-моему.

В 50-е годы школьников летом часто посылали на полевые работы в колхозы и совхозы: уборка арбузов, кукурузы, винограда. И нас летом после восьмого класса послали на помощь селянам. А я взял с собою гармошку: как не похвастать — играю же ведь! И играл. Но когда я выдал: «А сейчас я сыграю “Полонез Огинского” последнее произведение Чайковского» — позор был оглушительным. Общим: «Я ем грущу».

Второе публичное выступление с гармошкой было в 1982 году в спектакле по пьесе Алексея Арбузова «Город на заре». В спектакле я исполнял роль Кости Белоуса, бывшего матроса, и играл на гармошке «Яблочко». А кроме того я ввёл в спектакль (постановка спектакля была моя) уличную песню на стихи поэта 30-х годов Бориса Корнилова «Качка на Каспийском море»:

От Махачкалы до Баку, до Баку
Луны плавают на боку;
И, качаясь, бегут валы
От Баку до Махачкалы.

Нас качало в казачьих сёдлах,
Только стыла по жилам кровь,
Мы любили девчонок подлых —
Нас укачивала любовь.

Здесь реакция зрителей была прямо противоположной школьной. Но гармошку в руки я больше не брал.

Но, опять-таки, всё это будет потом.

А сейчас я мою пол в доме: моя очередь. Мою тщательно, как мне кажется: плитусы, под кроватью. Оп-па! Что это? Ага! Вот он клад! А мы-то с Толиком думаем-гадаем: куда мать сахар прячет? Всё облазили — не нашли. А он тут сладенький: вот он, мешочек, привязанный к панцирной сетке кровати.

Я быстро домываю пол, беру вёдра, коромысло, деньги, оставленные матерью, и иду за водой. («За водой пойдёшь — не вернёшься»). Это из серии парадоксов отца, так же, как и «Мало — значит останется». По воду надо ходить, по воду). Своей питьевой воды у нас нет и мы ходим за нею на 15-ю линию. Там, у Багровых, водопровод. Отдаёшь шесть

копеек — тебе наливают два ведра воды: пей от пуза. (Помню, и на базаре продавали воду кружками: «Есть холодная вода — пей от пуза не беда!»)

Толик на улице удивляется:

— Ты чего это? Моя очередь.

— Да ладно, — говорю, — гуляй. Завтра сходишь.

...Я иду домой, макаю кусочек сахара в ведро с водой и сосу его: сахар колотый, твёрдый до синевы.

Моя сладкая жизнь продолжалась недолго: мать увидела похудевший мешочек с сахаром, почуяла неладное и перепрятала сахар.

На новом месте проживания появились новые соседи: слева, на углу, Колосовы (большая семья), из которых я помню только Надю, ровесницу (все её звали Ништятка: «Как дела?» «Ништятк»); справа — рыже-конопатые Сыроватко со старшей дочерью Лидой и младшим Вовкой. Из пацанов на улице Будённого мне нравился Иван Кануников(?). (Кажется — Кануников, у него ещё была старшая сестра, Маруся.) Иван был напищан фольклором, как коробок со спичками. Да ещё играл на гармошке. Это от него я запомнил балладу в форме частушек, которую позволю себе привести полностью.

Ой, стоит, стоит гора высокая,
А на той горе четыре сокола.

Четыре сокола низко вилися,
А мы с миленьким шутя любилися.

Ой, огурчики, да помидорчики,
А мы влюблялися да в коридорчике.

А мы влюблялися, да все дивилися,
А расставалися — слёзы лилися.

Это с ним, с Иваном, мы сделали подляну Толику Лискову, моему давнему партнёру по трате халявных денег.

Дело в том, что на углу 19-й линии и Будённого жили сёстры Шелудяковы: Валентина и Алевтина, Валька и Алька. Валентина дружила с моим братом Николаем и ждала его из армии. А младшая, Алька, была, на наш взгляд, красавицей, и все парни хороводились вокруг неё. И Толик Лисков тоже клеился к Альке.

Возле плетня Шелудяковых, на улице, была единственная на всю улицу завалинка (вместо лавочки). Мы с Иваном заметили место, на которое обычно садится Толик Лисков и оборудовали его технически. Вынули из карандаша грифель, закрепили в полости иголку на тонкой резинке с ниткой и вставили устройство вертикально в завалинку. Закамуфлировали «мину», а сами устроились неподалёку, метрах в десяти от лавочки. Проверили — работает.

А вот и парни с девчонками стали присаживаться на завалинку. Посидят — уйдут, другие подходят. Ништятк, ребята, подождём. Наконец-то и Алька вышла и Лисков появился и сразу сел так, как нам надо. Лето, а он с поднятым воротником рубашки, весь на понтах и такой... романтично-загадочный. На 20-й линии гармошка играет, в вечернем стоялом воздухе слышны голоса хозяек во дворах. Что говорит Лисков Альке — не слышно. Он наклоняется к ней, и мы дёргаем за ниточку. Лисков буквально подсакивает и, видно, пробует это как-то оправдать: говорит что-то Альке. Затем осторожно садится и незаметно, ладошкой, «изучает» завалинку. А что там найдёшь? Завалинка, как завалинка: никаких «каўнчиков» (колючка такая), никаких колючек. И когда он успокаивается, мы снова дёргаем за ниточку. Получай, Лисков! В этом была и подростковая ревность, и застарелое отмщение, и какая-то зависть.

...В одной из своих статей («Как делать стихи», по-моему) Владимир Маяковский упрекает начинающего поэта за ошибки, что же вы, мол, так пишете:

Семён Михайлович Будённый
Скакал на сером КОБЫЛе.

Мол, кобыл и лягнуть может. Куда доскакался Семён Михайлович, какой КОБЫЛ его лягнул, но улицу его имени сменили на улицу имени Фрунзе. А, по-моему, — зря.

Будто и не было меня на улице Будённого.

Ой, огурчики, да помидорчики,
А мы влюблялися да в коридорчике...

Над «нахаловкою» — летняя луна.
За плетнями и калитками — ОНА:
Не лениво, не келейно — а навзрыд;
Испытание души идёт на взрыв.

Любить Альку Витька тащит на курган.
Алька — милка, ну а Витька — уркаган.
А Надежда-то, «ништятка» хороша:
Обнажилась под луною грудь-душа.
Плывут запахи лавиной из садов
И «поплыл» на дно топориком Багров:
Некий хмырь у него девушку отбил,
А он девке комбинацию купил...
На акациях бушует белый цвет,
Будто пропадом исходит белый свет.
Под гармошку в переулках, по садам —
Жизнь шальная под луной не по годам.
...Ослепительна, неистова луна.
Над «нахаловкою» шефствует она.

Пльви

Не будет воды — не научишься плавать. Не будешь тонуть — не ускорить процесс. Я тонул и научился держаться на воде.

Уруп, как и другие северокавказские реки, быстр и коварен. На перекатах он мелок и почти безобиден. А вот на поворотах и излучинах — опасен. Сильный напор стрежневой воды вымывает берег, рушит деревья. На этих изгибах реки образуются донные ямы, которые «кипят» котлами и водоворотами. Вот в одну такую яму и попал я из любопытства.

— Николай! — заорали брату, лежащему на берегу. — Твой братыш тонет!

А я бил руками по воде, грёб по-собачьи — спасался. А водоворот тащил меня ко дну, в яму. Я схватывал дыхание, хлебал серую воду Урупа и уверенно шёл ко дну. Откуда мне было знать, что через двадцать метров меня вынесет на мелководье?

Николай вытащил меня, дал подзатыльника (на «нахаловке» жалеть не принято).

— Другой раз утонешь, не приходи домой, — повторил он «нахаловскую» шутку.

Всё. Плавать меня больше не учили. Я сам находил места, где можно было научиться плавать, не утопая, и... поплыл, в конце концов: и по-собачьи, и «по-девчачьи», и «саженкой», и на спине, и на боку, и даже вертикально, работая только ногами.

А тонуть — ещё раз тонул.

В этом месте Кубани мы никогда не бывали, по крайней мере, я не помню. Купались. Играли. Вода спокойная у пологого берега на излучке. Стали выбираться на берег — не получается, не пускает вода. Мы от берега-то в пяти метрах, а не доплыть.

И «котла» вроде бы, так, зыбь на поверхности, но вода не пускает и держит, как магнитом. Мы стали понемногу паниковать и тратить попусту оставшиеся силы. Я применил испытанный приём: нырнул на дно и по дну пополз к берегу, так мне казалось. Но подводное течение развернуло меня на сто восемьдесят градусов и когда я выплыл наверх, чтобы схватить воздух, то оказалось, что я плыву к середине реки, удаляюсь от близкого берега. Но из ловушки я выбрался.

— К берегу греб! К берегу! — кричал мне парень с близкого берега (откуда он взялся?)

А у меня сил не было бороться.

— Держись! Не спеши! Сейчас тебя снесёт к берегу.

На повороте меня действительно вынесло на берег. Я, шатаясь, выбрался на гальку. Сел. Сил не было. А парень вытаскивал пацанов. И вытащил. Спасибо ему вечное.

Конечно, парня стимулировала девушка, с которой он пришёл на берег Кубани. Такая хоть для кого могла быть стимулом. Девушка оказалась Юлькой Котляровой, дочерью дядь Жоры, а значит — моей сестрой. Надо сказать, что у Юльки была выдающаяся, как бы это сказать... Общим, куда там Анфисе Чеховой вместе с Семенович. По сравнению с Юлькой — они первономерные, пионерки 6-го класса. Даже стресс, в котором мы пребывали, не затмил выдающиеся природные данные Юльки, все их заметили. Уже по пути домой кто-то из пацанов сказал, обращаясь ко мне:

— Ну и буфера! У Малинки вашей меньше.

Малинка — это наша корова, которая давала пятнадцать литров молока.

Вспомнил ещё один случай.

Мы часто совершали походы в горы, на «кутан». Нравилось там. Других гор мы не видали. Хотя — нет, видали. Если утром в ясную погоду глянуть с кручи от дома Мушенковых в сторону Кавказского хребта, то можно было увидеть белую вершину Эльбруса в лучах восходящего солнца. Но это — недостижимые, нереальные горы, а наши — вот они.

На горах мы лазили по скалам и пещерам. С нашей кручи видна и самая высокая из скал, которую мы покорили. Она

представляла собой вертикальную сорокаметровую стену с многочисленными выступами и углублениями. Когда я, обмирая, забрался на её плоскую вершину, я понял, что боюсь высоты. Даже с балкона девятого этажа смотреть вниз мне страшно.

Там на горах я обнаружил ещё одну свою фобию: я боялся заходить (заползать) в узкие и низкие пещеры. Очень боялся. Когда я увидел на ВДНХ в павильоне «Космос» кабину корабля «Восход»(?) в натуральную величину с тремя космонавтами, мне стало плохо. Я представил этих трёх ребят, лежащих-сидящих внахлёт, как карты, в тесном пространстве кабины, недвижно, не по-человечески — жуть... Страх и жуть.

Потом по жизни стало ясно, что у меня не только клаустрофобия, но и боязнь больших пространств воды.

Так вот: о том, как я ещё раз выплывал из Кубани.

Договорились мы с пацанами идти на горы. Каждый берёт себе поесть и приходит к двенадцати часам на 20-ю линию. А тут мать с отцом решили идти после обеда на прополку кукурузы. Ну, и, естественно, нас с Толиком подрядили. Как быть? Мы ушли на 20-ю линию — дело чести.

Через Кубань каждый переплывал самостоятельно. Только один раз, помню, мы взяли с собою горбатого Юру Ханбекова (он впоследствии стал чуть ли ни главным бухгалтером мясокомбината). У «ханбека» был фотоаппарат и он должен был запечатлеть наши подвиги на «кутане». Поэтому его через Кубань переправляли на накаченной автомобильной камере.

Мы были ещё на горах, когда гудок мясокомбината известил нас: уже четыре часа вечера. Значит, родители ушли без нас на прополку и нам с Толиком предстоит трёпка.

Где-то в половине пятого мы вышли к берегу Кубани. Вот тебе на! А Кубань-то поднялась и продолжает прибывать: пену несёт с бешеной скоростью. Мы собираем всю одежду, сворачиваем её и закрепляем на головах тех, кто лучше плавает. А мне поручили ещё и сумку с обувью: предполагалось, что плыть я буду на боку и грести одной рукой.

Вода была холодной, и после середины реки мне свело судорогой одну ногу. Надо было бы щипнуть эту ногу, да как? Я терплю и гребу изо всех сил. Но сводит судорогой и другую ногу. Не до геройства тут. Я зову брата Толика: он уже выплыл на берег. Обидно: до берега опять метров пять! Толик бросается ко мне, а я роняю сумку с обувью в воду. Брат забирает у меня сумку — я спасён.

А дома...

Когда мы добрались до дома, начался дождь. (Вот почему поднялась Кубань!). Толик, хитрец, собрал во дворе бельё с верёвки и занёс в дом. А потом вышел. Толик отправился чистить коровник (добровольно! надеясь на снисхождение), а я потоптался на крыльце, да и вошёл в дом. Мать выпроводила соседку и спросила у меня:

— Где Толик?

— У коровы чистит.

Она вышла во двор, искала брата, не нашла, и я получил компенсацию за прополку в двойном размере.

...Когда вечером у Толика спросили, где он был, тот ответил:

— Сидел на вишне в конце огорода.

— Под дождём?

— Ага.

Ты тонешь — значит не дерьмо.
Пльвёшь — привет сопротивленью.
Ни кнут, ни пряник, ни ярмо
Не превратят плывущих в пленных.

Куда? Я сам решаю плыть.
И что мне все безумства власти?
Не быдлом быть. И быть — не слыть.
Не «склеить» раньше часа ласты.

Всё начинается в воде:
И жизнь, и пропасть, и упрямство.
Не хочешь быть отцом беде —
Пльиви с упрямым постоянством.

Скажи «спасибо» той реке,
Где ты тонул и был на грани.
Как ветеран на биваке
Ты вспоминаешь эту рану.

И пусть тотально свет не мил
И неоплаченные чеки —
Пльиви!
Да хватит тебе сил
Стать полноценным человеком!

Река

И начать-то как не знаешь... Река. Человек и река. Можно ли жить без реки? Можно. Но как?

Я знаю реку в Челябинской области, отделённую от человека колючей проволокой. Река — «атомная», радиационная. За многие сотни лет человек привык жить в гармонии с этой рекой по имени Теча. Он ест рыбу из этой реки, поит скотину, купается в ней, любит эту зеленоглазую красавицу. И когда поставили заслон к реке, он продолжал жить по своим естественным законам: ел щурят, поил корову, купался и наслаждался. Но тайком. Он прорывает государственную блокаду и тайно встречается с речкой, а потом медленно умирает от любви и необходимости. В бассейне реки Течи смертность гораздо выше, чем в поймах других уральских рек.

А что Кубань и Уруп для Армавира и здешних мест? Разве не то же самое? Разве не кормят они и не питают людей, живущих по их берегам? Кормят. И не только рыбой, но и тем, что живёт и кормится около реки. Кроме того: река предоставляет людям строительный материал: камень, известняк, песок, камыш, лес. Топливо — это тоже река; и не только хворост и лес, но и КАРЧИ: выброшенные водой на берег коряги, остатки деревьев. Река — не только питьевая вода, но и техническая для промышленных предприятий и аграрных комплексов. Сколько воды забирают у Кубани оросительные каналы?

У Льва Гумилёва есть термин «кормящий пейзаж»: географическая и природная среда, в которой сотни лет живёт человек. Эта среда формирует образ жизни человека и, в конце концов, его этнический тип. Отними реку у человека, живущего у реки, и он погибнет. Или вынужден будет искать другое место обитания.

1952 год выдался весьма необычным, даром, что високосный: в Белорусии наводнение, на Камчатке цунами, на Курилах и землетрясение и цунами — остров Уруп накрыло волной. А у нас тут свой Уруп разбушевался. И странно, что наводнение в Армавире и вверх по Урупу не попало в перечень бед и событий года. Впрочем, понятно: что собой представляет эта беда на фоне региональных потрясений? Так, локальное ЧП, даже без погибших (наверно, о погибших и пропавших без вести не доложили наверх, побоялись). А ведь в Отрадной и других станицах верховья Урупа посмывало хаты, а в Армавире снесло мост.

Уруп, между тем, разгулялся серьёзно. «Нахаловская» круча, которая обрамляет окраину с юго-востока, начинается почти у моста, а за водокачкой становится левым берегом Кубани. Так вот вся эта круча стала левым берегом Урупа. «Нечаевские» огороды под кручей «поплыли», они оказались под водой. Вода шла по всей ширине поймы: от линии кручи — до леса и даже по лесу после гончарки. Стихия несла раздувшиеся трупы животных (коров, овец), на дверях и дверных рамах загрохотали кудахтали куры (и смех и грех), от «ставропольского» моста вода тащила многотонные бетонные блоки.

Через пятьдесят лет, в 2002 году ситуация повторилась точь-в-точь, вплоть до обрушения моста. Только в пойме реки, периодически затопляемой, на месте «нечаевских» огородов на этот раз были сады и дачи. Ничему грабли людей не учат. К сожалению.

...Уруп бушевал уже несколько дней, и мы, прогоняя стадо по мосту, со страхом и любопытством наблюдали за этой дикой необузданностью. Вода поднялась к полотну моста и была страшно близко: вот она, в трёх метрах бурлит, кипит, брызгается пеной. Даже мост гудит и вибрирует.

И вот вечером, когда стадо коров проходило по мосту, мост рухнул. А ведь мост построили пять лет назад, в 1947 году.

Мост не то, чтобы рухнул, а как-то мгновенно просел между двумя центральными быками-опорами. Будто «болгаркой» чиркнули по нему. Края разлома зависли над водой полого, дугообразно.

Телушка из стада, уже на той стороне моста, провалилась задними ногами в разлом, зачиркала копытами по наклону, в последний момент нашла опору и выскочила наверх, везунчик. Коровы, шедшие за телёнком, остановились как по команде, упёрлись копытами, останавливая напуганных сзади. Слава богу, что стадо было небольшим и проходило оно по мосту свободно, не плотно, потому задние коровы не столкнули впереди идущих в пропасть. Те остановились, угнули головы, завращали глазами, втягивая ноздрями клокочущую погильбу.

Стадо разделилось: часть успела перейти мост, а другая осталась на этом берегу. С этого дня, вернее, вечера, начались у нас ночные бдения, пока не спала вода. Наша Малинка тоже не успела перейти мост, а потому я (и Толик? не помню) с другими пацанами ночевал за Урупом у костра. Было весело и романтично. С нами всегда было несколько человек из взрослых. Транспортный мост закрыли, а людям разрешили

переходить с берега на берег по режимному железнодорожному мосту.

Когда вода немного спала, то коров стали перегонять с берега на берег по воде, через Уруп. Коровы хорошо плавают, по крайней мере, не тонут. И мы, если было лень обходить по железнодорожному мосту, держались за хвост своей коровы и переплывали Уруп. Самостоятельно переплывать реку мы ещё опасались

Когда же река вошла в свои берега, успокоилась, стали заметны изменения произошедшие с ней. Русло, география русла изменилась: место купания пришлось сменить, появились другие «котлы» и водовороты, изменились глубины и места бродов. Подводные валуны горбатились большими пологими волнами и были остры и опасны.

Появились смельчаки шофёры, которые пытались переехать Уруп, не заглохнув. Редко кому удавалось. Почти никому. Помню, долго, почти всё лето, стоял в Урупе американский грузовик «студебеккер», гружённый кирпичами. Кирпич потихоньку растащили «нахаловцы», машину стало заиливать, и как она исчезла, не помню.

Шоферня быстро сообразила, что в лоцманы при форсировании Урупа надо брать пацанов. А пацаны быстро сообразили, что это выгодно и стали брать плату за переправу. Чем не иллюстрация к «кормящему пейзажу»? Дежурили пацаны на обоих берегах Урупа. Я в этом бизнесе участия не принимал, стеснялся, а пацанам завидовал. Особенно бойкими были Женька-Пупа и Толик Тришакко.

Вот и сейчас: подъехал американский «виллис» (типа джипа), пацаны о чём-то договариваются с водителем, и тот неожиданно разворачивается обратно в город. Толик с Женькой садятся в машину, а я решил воспользоваться оказией: незаметно устраиваюсь на заднем бампере и держусь за запасное колесо. Довезут, думаю, меня хотя бы до 20-й линии.

Едем. На 20-й линии, там живут пацаны, машина не останавливается. Не останавливается и на 19-й линии. На 18-й линии я решаюсь «катапультироваться».

Боже мой! На полном ходу, голый, на гравийной дороге! Правая сторона спины стала похожа на сырое мясо: её будто тёркой потёрли или рашпилем обработали...

Приплёлся домой, плача не от боли, а от обиды: почему мне так не везёт?

Реки, как и люди, бывают непредсказуемы и гневливы. Но мы ведь живём с такими людьми, приспосабливаемся друг к другу и живём. И даже какую-то гармонию в этом находим.

Ни из далёкой сибирской Чары, ни из близкого кубанского Крымска, ни с ежегодно затопляемых берегов Лены, ни даже с отравленной Течи люди не хотят переселяться: они вросли в «кормящий пейзаж» и рвать живую ткань не хотят. И это разумно и законно. По природе.

...А качели летят неизбежно, фатально:
Обрушительно вниз и с надеждою вверх.
И надёжно, упрямо и капитально
Строят люди дома в русле вытекших рек.

Раскачались качели неостановимо,
И расстроилась стройность постулатов и догм.
Что-то сделано нами непоправимо:
Снова вниз устремились, и бессилён здесь бог.

Роковая раскачка, размываются истины;
И смывает в поток и село и аул;
И не имут конца печально расхристаны
Раскрестьяненный пахарь, казак-есаул.

Раз!
И раздичилось Дикое поле.
Раз!
И располелось поле в пыль.
Раз-бивается лучшая доля.
Рас-пыляется ярости пыл.

И разбухшие вены речные
Рвут ограды и берега.
И кошмары,
реально,

ночные
Подступили к дому врага.

Раз!
-рываются
звонкие цепи!

Раз!
 -мочалена
 троса ткань!
 Рас-
 падают
 души и крепи —
 Наказанье и казнь.

Рас-сыпа-етСя МИР
 а
 зД а НИ е -
 Уже крышу несёт!
 Раз-
 мывает,
 смывает
 фундамент...
 Это — всё...
 ...А по Урупу —
 Срубы и трупы.

Лихорадка

Я умирал.
 И в этом факте был один приятный момент: не буду теперь получать за себя и за хитрющего Толика.

Я умирал, волосы из головы выпадали клочьями, как у больного щенка, и было ясно, что я никогда не увижу Волго-Донского канала, открытого в 1952 году, и который я строил из ила на берегу Урупа летом 1953 года.

Я умирал, волосы из головы выпадали клочьями, как у больного щенка, а температура всё не падала и не падала: так и держалась на делении 41,3, а мать сходила с ума от моего бреда и собственного бессилия.

Я умирал.
 Реально и безвозвратно.

Сколько раз уже за мои 13 лет судьба пробовала сократить моё пребывание на белом свете? Не раздавило ни колёсами водовозки, ни льдинами в половодье; ни разу не утонул ни на Урупе, ни на Кубани (хотя возможности были); меня не разорвали волки 46-го года, а теперь... Вот в таких ситуациях седеют матери и спиваются отцы.

Я таял на глазах матери, и для неё это было невыносимо: вынырнуть и оберечь детей в катастрофическое время, а когда наладилась жизнь — не суметь защитить этот росток от какой-то случайной болезни ни руками, ни душой, ни молитвами. Шепталась она и с богомолкой Васильевной, и разговаривала с какими-то бабками, выслушивала советы соседок и, наконец, принесла домой бутылку денатурата, синего, отвратительного на вид. Она насильно, думаю, от отчаянья, влила в меня беспамятного денатурат и замерла, как перед казнью.

А мне было всё равно. Но я уснул и не бредил. И тогда она заплакала.

Я пришёл в себя, проснулся и сказал:

— Хочу помидор.

Мать сидела около кровати, вздрогнула от моего негромкого голоса и проснулась. Наклонилась, коснулась губами моего лба и улыбнулась:

— Ты — молодчик! Ты — герой, Шурик!

— Хочу помидор.

— Будут тебе помидоры, будут! — Своих помидор ещё не было, но на базаре уже появились. — Ты только выздоравливай, сынок. Нам с тобой ещё к врачу надо сходить.

— Не пойду, — заупрямился я. — Помидор хочу.

Как-то были мы с матерью у врача: ухо сильно болело.

— Будем делать операцию, — сказал врач.

Я как пыхнул (выражение отца: рвануть, сбежать), меня только и видели в кабинете врача. Я знал, что операция — это значит, резать. А боли я боялся и боюсь до сих пор. Мать сама вылечила меня, прикладывая к уху мешочек с горячей солью.

— Да ты не бойся, — уговаривает меня мать, — это же не операция. Он посмотрит тебя и лекарство пропишет: рецепт даст. Листочек такой.

Я молчал.

— И не страшные они, врачи, а вежливые. Вон у меня живот болел. Я пришла к врачу, а он спрашивает: «Вы бздите? Вы пердите?». На «вы».

Выжил я.

А начиналось всё романтично. Год назад, в мае, был открыт Волго-Донской канал. И Москва, столица нашей родины, стала портом пяти морей.

Так в песне того времени пелось. Мы с пацанами соображали: Беломоро-Балтийский канал соединял Москву с Белым

и Балтийским морями; а Волго-Донской — с Каспийским, Азовским и Чёрным морями.

Получалось, что из Армавира можно было доплыть до Москвы. По Кубани — в Азовское море, оттуда через Дон и канал — в Волгу, а из Волги — в Москву-реку: «Здравствуй, столица! Золотая моя Москва!»

Вот этот проект — из Армавира в Москву — мы и осуществляли на берегу Урупа из глея (ила). Глей в руках — ласковый, атласный, с ним хочется возиться: лепить и строить из него — одно удовольствие. Мы и строили с удовольствием. Но стройка затянулась, видно из-за конкуренции между альтернативными проектами, а мы продрогли в этой илистой грязи.

Но заболел почему-то я один. А врач потом назвал мою болезнь иловой лихорадкой. Вот такой хрен с изюмом.

Помидоры на базаре мать купила. А когда я немного оклемался и стал ходить, то попросил рыбной консервы.

— Сходи сам в магазин на 11-ю линию, — сказала мне мать и дала деньги

Я пришёл в магазин. Банки с консервами стояли на полках пирамидами.

— Мне консерву рыбную, — сказал я продавщице. — Одну.

— Рыбы нет, — ответила продавщица.

— А вот это? — я кивнул на полки.

— Это — крабы.

Я сравнил: «рыба», «крабы» — похоже.

— А крабы — это рыба?

— Это — лучше, чем рыба!

Я купил баночку крабов, пришёл домой, отдал матери консерву и сдачу. Мать открыла банку ножом, а я сидел и предвкушал: лучше, чем рыба!

— Так это ж пауки! — удивилась мать. — Шо ты купил? Да ещё так дорого.

И я вспомнил: я видел крабов на Чёрном море, когда мы с Толиком были там в пионерском лагере после четвёртого класса.

— Это — крабы, а не пауки, — заспорил я. — Они боком ползают. Бегают...

— Тю! Так это ж не рыба.

— А рыбы не было. А крабы — лучше рыбы!

Я принялся за трапезу

Крабы были отвратительны! Они были не только не лучше рыбы, вкус её, рыбы, даже не обозначался никак.

Долго потом я не ел крабов.

А волосы на голове отросли, стали гуще и закудрявились.

— Наташ, ты плойку Шурику сделала что ли? — спрашивали соседки.

Мать только улыбалась.

Где-то в это время меня впервые пробило на стихи. Причём — о Сталине.

Вечерком, укрывшись одеялом,
В постели мягкой я тихонько спал.
А утром встал и быстренько умылся,
А на дворе уже рассвет вставал.

Рассвет! Рассвет на улице вставал!
Когда-то Сталин в этот день прекрасный для народа
Конституцию СССР провозглашал.

И с этой конституцией идём мы
За Сталиным по верному пути... и т. д.

И никто ведь не заставлял писать. Сам. Искренне. Вот что значит идеологическое воспитание. А как плакали в школе после известия о смерти Сталина! Учителя ходили с опухшими от слёз лицами, судорожно всхлипывали и говорили очень тихо.

«Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» — помню такой плакат. Будто бывает несчастливое детство.

Откуда ребёнку знать, что такое счастье, если и взрослые этого не знают. Ребёнок не знает другой жизни, где это самое счастье живёт. Он органичен в своей среде и поводов для радости у него — масса.

Детство всегда счастливое.

Потому что по природе своей оптимистично и позитивно; потому что в нём много обид и болячек, а значит, столько же возвращений к радости и мечте.

Став взрослыми, мы понимаем: детство было лучшим временем нашей жизни.

Разве это не есть счастье?

...А Волго-Донской канал я потом всё-таки увидел: не один раз проезжал на поезде по пути с Урала на Кубань.

Зори зорние, ветры ветреные!
Я вам речь реку свою заветную.

Вы замрите, ветры, по горам и долам,
А в нём жизнь пусть светит, та, что я дала.

Заберите, зори, его жар и цвет.
Пусть дитё увидит снова белый свет.

Ты, страна и родина, дай силы встать слабому!
Что тебе сто́ит, если ты — славная.

А он жизнью наполнится, да песню сложит
О тебе сильной — какую сможет.

Вороньё кружит,
Ангелы летят.
Зачем матери жить
После дитя?

О, море, море!

Мне 14 лет — я рисую море, волны и якоря. Я решил поступать в мореходное училище.

Первый раз я увидел море в десять лет. По-моему, летом 1950 года. Я помню, как поезд выполз из-за какой-то обросшей лесом горы и за окном вагона стеной встало море: горизонт был непривычно высок. Все горизонты, которые я видел за свою короткую жизнь, всегда уходили от меня ВНИЗ, как бы с горы. А оказалось, что настоящий (географический) горизонт выше той линии, к которой привыкли мои глаза за десять лет моей жизни, и он уходит от меня ВВЕРХ. Это меня поразило.

Мне всё нравилось в том море: и застывшие, как приклеенные, в море белые корабли, и прозрачная морская вода с солнечными бликами по дну, и ненормально бегающие крабы, и нестрашные медузы — всё, всё, всё!

И жизнь на берегу, в пионерском лагере, тоже нравилась. Однажды на линейке со мной что-то произошло. Мы идём в строю, в голове какой-то шум, я зову пионервожатую, а она

меня не слышит. И вообще никто не обращает внимания на мой крик! Я упал. И тогда все бросились ко мне. Оказывается, у меня был солнечный удар.

А как мы у того моря искали знамя по прибрежным лесам! Вот это была игра! И взрослые ведь не боялись потерять детей в лесу, а мы не боялись заблудиться. Даже помню, как называлась скала у моря, отвесная, как стена: Киселёва. По имени местного героя войны, который на мотоцикле бросился с неё в море и увлёк за собою преследовавших его фрицев. Всё это — и море, и лагерь, и игры — называлось Чёрное море, Туапсе.

Благодаря тому лету, я понял, что дед мой живёт на улице ТУАПСинской, а не ТУГАПСинской, как я думал.

А сейчас — 1954 год. Я закончил семь классов школы, получил «Свидетельство» об окончании, в котором не было четвёрок: одни пятёрки. (Любопытно, что в «Свидетельстве» был и такой предмет, как «Конституция СССР»). Брат Николай служит в армии, в авиации, где-то под Батуми, в городке Кобулету. А в Батуми — мореходное училище. Вот к поступлению в него я сейчас и готовлюсь: обхожу врачей.

Врач перелистывает книжку, каждая страница которой испещрена цветными пятнами.

- Что здесь? — спрашивает меня врач.
- Пятна цветные... Точки, — уточняю я.
- Что изображено точками?
- Ничего.

Я понимаю, что здесь какая-то хитрость, но в чём она — не могу догадаться, Врач перелистывает страницу.

- Что вы видите?

Меня это подкупает: «вы». Правильно мама говорила: вежливые.

- Ничего, — бодро отвечаю я.
- Никаких геометрических фигур?

Я напрягаюсь:

- Ничего.
- Смотрите внимательно: зелёного цвета.

Я смутился:

- Не вижу.
- А коричневого?

Я не видел ни треугольников, ни кружков.

И тогда врач кончиком карандаша показывает мне эти злополучные геометрические фигуры.

— Не поступите вы в мореходное училище, — говорит мне врач

— Почему это?

— Вы — дальтоник. Некоторые цвета совсем не воспринимаете. У вас цветоощущение резко ослаблено. Приёмная комиссия вас даже до экзаменов не допустит.

— Доктор, а вы... не пишете...

— Что не писать?

— Ну, что цветоощущение... Я же вижу: вот — красное, вот на картине жёлтое, ромашка белая...

— Да причём тут ромашка?! Тебя ТА комиссия не примет! — Вежливость врача испарилась. — Ты только деньги семейные зря проежишь. А живёте вы, я вижу, не сыто.

— У меня там брат служит, говорю я. — Доктор, ну, пожалуйста.

На «нахаловке» редко говорят это слово: «пожалуйста».

— Ладно. Напишу я тебе: «Цветоощущение ослаблено», а не «резко ослаблено». Катись.

И вот — Батуми. Это вам не Туапсе какое-нибудь! Это — субтропики: пальмы, магнолии... Ах, эти магнолии! Лаковые листья и головокружительный запах белых роскошных цветов!

Брату Николаю разрешили увольнение для встречи со мной, и он в каком-то парке угощает меня вином. (Ах, ах! Разве так можно? Можно, не можно — было). Потом мы купались в море. Николай неудачно прыгнул в накатившийся вал и раскрошил себе передний зуб о камни. А меня утатило в море, и он снова спасал меня. В Батуми странное море: волна будто от берега идёт, а не к берегу..

А в училище меня не приняли, как и предполагал врач в Армавире. Предложили учиться на механика — я отказался: только капитаном дальнего плавания хочу быть. Вот эта черта характера — или это (так), или ничего (никак) — осложняла и до сих пор осложняет мне жизнь. В этой бескомпромиссности есть свои плюсы и минусы. Мне кажется — больше плюсов.

Поступал в Челябинский политехнический институт (ЧПИ). Первый экзамен профильный: математика. А у меня в аттестате почти вся математика «отлично». (В аттестат входили алгебра, геометрия, тригонометрия; так вот по тригонометрии у меня была «четвёрка».) А я получаю — «неуд». Не может такого быть! Я, обиженный, прихожу в приёмную комиссию забирать документы, а мне их не отдадут:

— Сдавайте следующие экзамены.

— А математика?

— Потом пересдадите.

А у меня аттестат хороший: «четвёрки» по тригонометрии и русскому языку, остальные — «пятёрки».

— Почему мне такая привилегия? — возмущаюсь я — Правила для всех одни. Верните мне документы, — требую я справедливости.

Не вернули. А я не пошёл больше на экзамены. В октябре мне прислали домой документы. Вот такая бескомпромиссность. Какой бы из меня был инженер — не знаю, может быть, и хороший. Но «судьба Евгения хранила», и слава ей.

Я не поступил ни в Батумскую мореходку, ни в Челябинский политехнический, ни в Таганрогский радиотехнический. Ну и хай, как говорят у нас на Кубани. В Таганроге было третье свидание с морем, и я, неожиданно для себя, испугался его.

Иду, иду — всё мелко и мелко. Метров двести прошёл — по пояс. Оглянулся и обомлел: как же я доплыву до берега?! Сил не хватит. Казалась нереальной ТАКАЯ глубина на ТАКОМ расстоянии от берега. Когда смотришь с берега в сторону морского горизонта, то взгляду не во что упереться — бесконечность. А с моря до берега — зрение мерное: ты видишь метры до берега, расстояние, которое придётся преодолевать в случае беды; ты рассчитываешь свои силы.

И расстояние — пугает.

Романтическое отношение к морю со временем прошло, а появилось философское. В одном моём рассказе герой уплывает в море, вдаль, туда, где горизонт СЛИВАЕТСЯ с морем.

А сливается ли? Возможно ли такое?

Я в Анапе несколько дней ловил этот момент и поймал его: НЕТ ЛИНИИ ГОРИЗОНТА: море переходит в небо, а небо — в море. При всём моём дальтонизме полоску горизонта я увижу всегда, если она есть. А тут — не было! «Время серого равновесия». У ног моих небо, а я пред ликом его. Как-то вот так.

Но даже при таком «возрастном» отношении к морю, оно, всё равно, как первая любовь: хоть и не женился, а не забудешь.

Вот и снится до сих пор ночами.

Ах, кто б нас научил
Распознавать оттенки!
За что нам бог всучил
С тобой собачьи зенки?

Как распознать нам: где
Ложь? Где полуправда?
Где полуверность? Где
Полуизмена правит?

Не различаем мы
Полутонов измены,
Полуизмены тьмы,
Или — полузамены.

Затмение когда -
Мы воем и болеем;
Но чувствуем всегда,
Когда душа светлеет.

Природный дальтонизм -
Нюансов нет,оттенков:
Чужой — так становись
К барьеру или к стенке.

Нас предают с тобой -
Но мы лишь ощущаем
Чему-то в нас отбой,
Щемящее прощанье.

Мой чернобелый друг,
Мой друг бескомпромиссный,
Один мы тянем плуг:
Своей собачьей жизни.

Стараемся из всех:
Других спасая, тонем.
В том гибель и успех...
«Ау! Мой друг дальтоник!»

Реквием светлый

Вот и закончилось детство: открылись новые дали, другие
горизонты.

А я так и не успел рассказать:
— как сметали крошки со стола;
— как мыли щёлоком волосы;

— как ловили вшей;
— как утоляли жажду в поле;
— как выгоняли мух из хаты;
— как языком доставали соринку из глаза;
— как резали ножом кисель,
как, как...

как благодарен я предыдущему поколению, положившему
себя и жизнь свою ради шуриков, толиков, вер и надежд.

Не у всех получилось. У нас, по материнской линии, у
Кендюхов, только Фёдор Голеницкий родил с тётъ Женей
Веру. А у Котляровых отличился дядь Жора: и с первой же-
ной сделали послевоенного Кольку-моряка, и со второй женой
сотворил трёх светлых ребятишек. Остальные четверо братьев
и одна сестра Котляровых после войны не родили ни одного
ребёнка. Не получилось. Надорвались мужики, потеряли себя
женщины. Нужда выела естественные возможности и усилила
тревогу за довоенную детскую поросль. Или — нет? Может
быть, мне так кажется?

В любом случае: с войны вернулись те, кто воевал. У меня
всю жизнь вызывал удивление их простецкий облик. Вот дядь
Саня Котляров: закоренелый рыбак, с большими ревматиче-
скими ногами, тихий и негромкий. Это он остановил немца?!
Да, будет. Но ведь это он в общем застолье с братьями хватал
в руки две вилки, а в зубы — нож (джигит!) и плясал «На-
урскую», дядь Саня.

Ну, дядь Гришу Кендюха, по всей вероятности, мало что
могло остановить. Так же, как и красавца казака дядь Жору
Котлярова. Оба — смелые, сильные, немного хвастливые.

Вспоминается эпизод из 60-х годов с приёмом на работу
кузнеца Григория Кендюха. На одном из армавирских заводов
дали ему сковать какое-то пробное изделие. Дядь Гриша вы-
пил стакан водки и принялся за дело. Сделал, сидит, ждёт.
А начальнику между тем сказали: «Он без водки не работает».
Пришёл начальник посмотреть на этого Кендюха. Принесли
бутылку водки: «На, пей!». Григорий опрокинул стакан бе-
ленькой, вытер губы: «Спасибо». «Закусывай». А уже прошёл
фильм «Судьба человека». «После первой не закусываю».
«Тогда пей вторую и принимайся за работу». «На работе не
пью», — неожиданно ответил Кендюх. — «А работу прини-
майте — сделал».

Что с таким может сделать враг?

А вот дядя Коля Котляров — совсем другое дело. Похожий по характеру на Балбеса из гайдаевских фильмов, он, вероятно, прикрывал подобным образом великую драму своей души. Худой, длинный, он получил от войны по полной программе и даже, может быть, сверх того.

В 1941 году при тотальном отступлении армии попал Николай Иванович Котляров в плен.

— Да у нас и винтовок даже не было. Как воевать? А куда ни ткнись — везде немцы. Вот мы и блукали, пока нас не согнали, как стадо, в одно место.

И отправили Николая Котлярова в концлагерь... в Норвегию.

— Нас хорошо кормили, — рассказывал дядя Коля. — Одежду приносили местные. А кто-то задумал побег. «Котляров, ты — с нами?» — спрашивают. «Я — как все», — отвечаю. Ну и пошли. Катер откуда-то взялся. Сели, поплыли на другой берег фиорда. А там нас уже ждут: «Здравствуй, жопа! Новый год!» Побег, твою мать. В другой лагерь отослали. Поприжали. До самого освобождения.

А вот после освобождения его почему-то вернули в армию. То ли с наказанием в штрафбат, то ли без наказания на передовую — не знаю. Но стал его доставать ротный: предатель да предатель. Не выдержал Николай Иванович Котляров, да и стрельнул в ротного. А тот и умер. А Н. И. Котлярова не расстреляли почему-то, а сослали в советский лагерь под Кемерово. Вот ведь как: у немцев живым остался, викинги пожалели его — а он своего пристрелил. И тут не страх и не смелость, нет: достоинство проснулось в человеке.

Все братья Котляровы устраивали свою жизнь через Армавир: город был, как перевалочная база, как стартовая площадка для жизни. И только старший из Котляровых, Филипп Иванович, майор Красной Армии жил и остался жить в послевоенном Сталинграде. Общался с младшими редкими письмами и никогда после войны в Армавир не приезжал. Не знаю почему.

Ну, вот что в них, в этих людях общее? Такие разные все. Я не могу представить себе, чтобы кто-то из них сказал: «За Родину! За Сталина!» Они и слов таких не выговаривают. Это кто-то другой такие слова говорит. Но когда достанет беда и всё станет на край — или-или, и есть только ты и неодолимый враг — тогда всё: шапку оземь, рванул рубаху на груди и —

во весь рост. И неважно — КТО или ЧТО перед тобой: ты уже — неодолим и бессмертен.

Своё мужики защищали.

А после войны холили и оберегали это «своё». Вот он сидит сейчас на завалинке возле хаты, жуёт стебелёк укропа, кошку гладит — жизнь! Это он — тот же самый. Народ.

Правда, среди этого народа и грибцовы-полицаи, и мацепуры, которые никогда не воевали. Но есть и улыбчивый Дзюба, который тащится на свою 20-ю линию с деревянным протезом на ноге. И есть Иван Акимович Кендюх, фельдшер и медбрат, прошедший всю войну, до самой Праги, и в канун дня победы, 8 мая 1945 года убитый снайпером.

Какие картины он рисовал маслом на досках! Жанровые, тёмного колорита, и при всём при том — романтические. В них была тихая, вечерняя прелесть.

Дядя Ваня...

Вот он на довоенной фотографии, больше похожий на деда, чем на бабушку, пишет отцу и матери: «На память братушке Андрюше и сестрице Наташе. Пусть эти мёртвые черты напомнят вам живого...»

Не у всех получилось.

Не у всех...

Синий ветер весенних дней,
Распуши зеленой начала,
Чтоб от почечки — до корней
Жизни этой всю жизнь хватало.

Алый ветер июльских гроз,
Напои мои злаки влагой,
Чтобы род мой крепчал и рос
На своё и чужое благо.

Серый ветер осенних туч,
Не спеши срывать золотое!
Пусть не гаснет надежды луч
Перед белою темнотою.

Белый ветер спелых снегов,
Заметай теплом безмятежность.
А весной проклонется нежность:
К новой жизни росток готов.

Содержание

Ни горячего, ни холодного...	3
---	---

Два дня жизни Икорникова

Сон(<i>первый фрагмент</i>)	10
Осень	11
Сон (<i>второй фрагмент</i>)	11
Собкор	11
Снег	13
Новость	13
Запись	14
Сон(<i>третий фрагмент</i>)	18
Поминки	19
Дорога	20
Сон(<i>четвертый фрагмент</i>)	21
Финал	21
Мне малым-мало спалось	22
Ой, на горе тай женщй жнуть	27

На золотом краю России

Даль	38
Крещение	40
Цоб-цобá	42
Гуси-лебеди	46
Кэндюхи	48

Окраина	51
Отчим	53
Пропавший без вести	55
Домик на окраине	57
Побег	59
Среда обитания	62
Хлеб	65
По дороге домой	69
Хозяин	72
Расплата	76
Рыба с мамалыгой	80
С ранамира майдан карясяся	88
Я ем грущу	91
Икона	95
Кубань гуляет	98
Одежда времени	102
Вот такое кино	105
Двор и дворё	109
Улица моя	112
Нахаловский вокал	116
Тарантулы и гады	121
Имени Семёна Михайловича	125
Пльви	130
Река	134
Лихорадка	138
О, море, море!	142
Реквием светлый	146



Дед, бабушка и тётя Женя. 1961 г.



Кендюхи без деда Акима. Конец 50-х гг.



Три сестры. Справа — мама. Конец 1950-х гг.



Отец Андрей Дмитриевич Мишутин, брат Коля, мама. Село Бароновка. 1936 г.



Мама (слева) с подругой Марусей Шитициной,
моей крёстной матерью. 1939 г.



Мама (слева) с подругами. Середина 40-х гг.



Фельдшер и художник.
Погиб 8 мая 1945 г.
1939 г.

Напомним братушки
Андрюши и сестрица
Найшани в этот вид
зда в Дагестан
скую АССР
Будь эти жертвы
этой войны
вам милые. В эту
дальнейшие годы городе
Армавира много
видал. Но ничего
не подумал лучше
не могли сделать
Г. А. А. А.



Слева направо: Н. И. Котляров, Ф. И. Котляров, мама (на втором плане), тётя Нина Бибилова



Дядя Жора Котляров, брат отца со своей второй женой Катериной. Середина 50-х гг.



Николай Мацпура (анфас, лысый), справа отец Ф. И. Котляров и мама. 1955 г.



Николай Мацпура (в профиль, лысый) со своим ишаком (анфас). 1955 г.



Мама с сыном Шуриком (автором)



*Братья, слева направо: Шурик (младший),
Коля (старший), Толик. 1950 г.*



Пионерлагерь в Туапсе. 1950 г.



У родного плетня. Мама во втором ряду в центре. 1954 г.



*Александр Мишутин с сестрой Тamarой Котляровой
и братом Николаем Мишутиным. 1956 г.*



Иван Аникин (с гармошкой), автор и одноклассницы, март 1956 г.



Кубань гуляет. Свадьба брата Николая. 1956 г.



*1 января. 20-я линия на улице Ленина.
Слева Василий Завалюев, справа — автор. 1956 г.*



*20 линия и улица Ленина сегодня.
Взгляд в сторону города. 2012 г.*



*Так выглядит 19 линия (19 line strit) сегодня.
Взгляд от ул. Мира и железной дороги. Три тополя в глубине
растут возле моего бывшего дома. 2012 г.*



*Вид на мясокомбинат с улицы Мира
(б. III ИНТЕРНАЦИОНАЛА) 2012 г.*



*Место, где стояла хата Мушенковых на выгоне.
Домик слева — так выглядит хата сегодня.*



*Не один раз затоплял Уруп эту низину
(бывшие «нечаевские» огороды), а люди всё равно селятся там.
Вдали видны «горы» — Ставропольское плато*



Так выглядит «мирный» Уруп



*А это старый «ставропольский» мост,
взорванный в 1942 году при подходе немцев. 2012 г.*



*Железнодорожный мост через Уруп, построенный в 1947 году.
Рядом с ним (перед ним) стоял транспортный мост, снесённый
дважды: в 1952 году и в 2002 году.*

*Слева видна левобережная опора бывшего моста.
В этом же районе был и базарчик «мостопоезд» в 1947 году*

Александр Андреевич Мишутин

На золотом краю России

рассказы и повесть

Верстка *В. Б. Феркель*

Подписано в печать 18.03.2013.

Формат 60×84/16. Бумага Гознак.

Печать офсетная. Объем 8,84 + усл. печ. л.

Заказ № 46.

Тираж 300 экз.

ЗАО «Цицero»ООО

454080, г. Челябинск, Свердловский пр., 60.

Отпечатано в типографии

ООО «Тираж Сервис»

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 179.